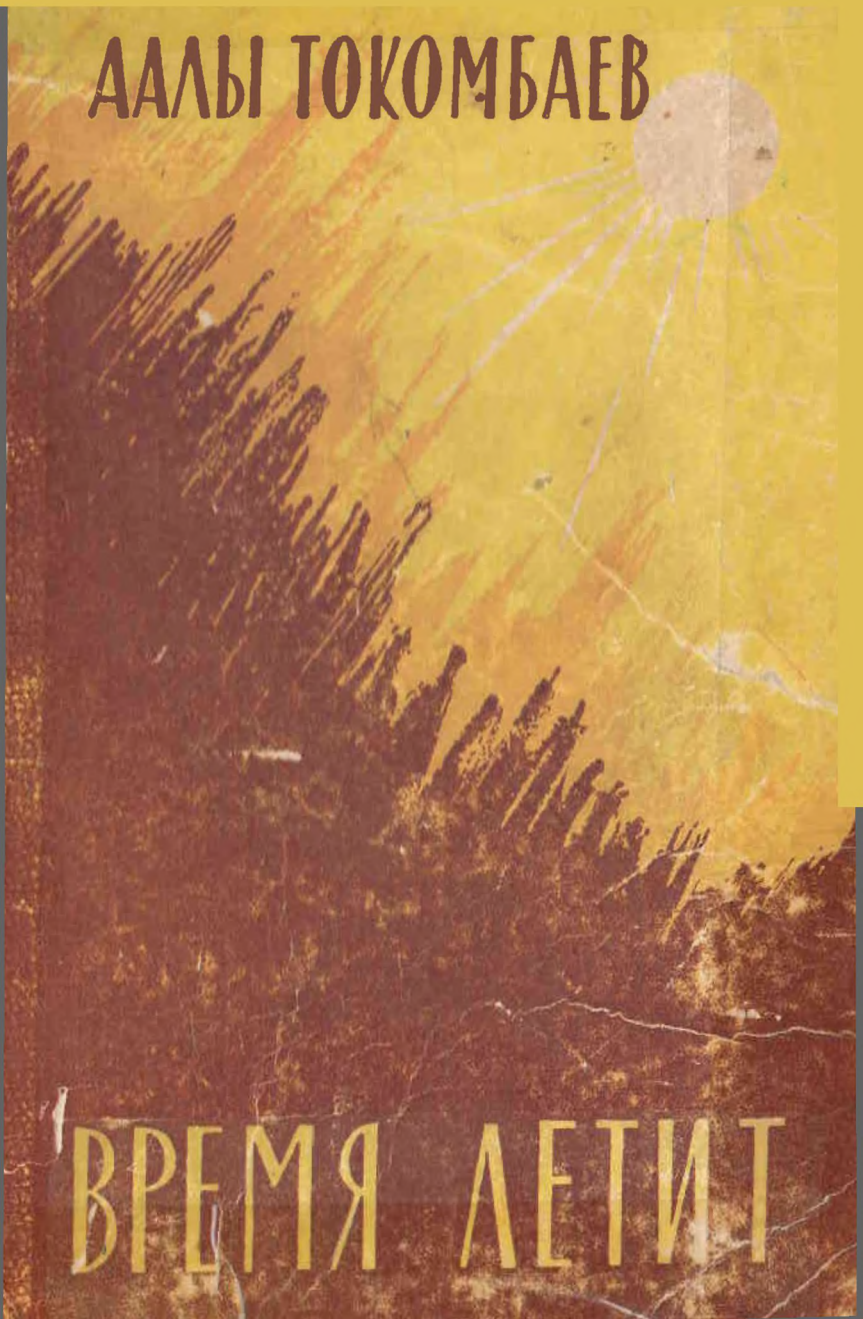
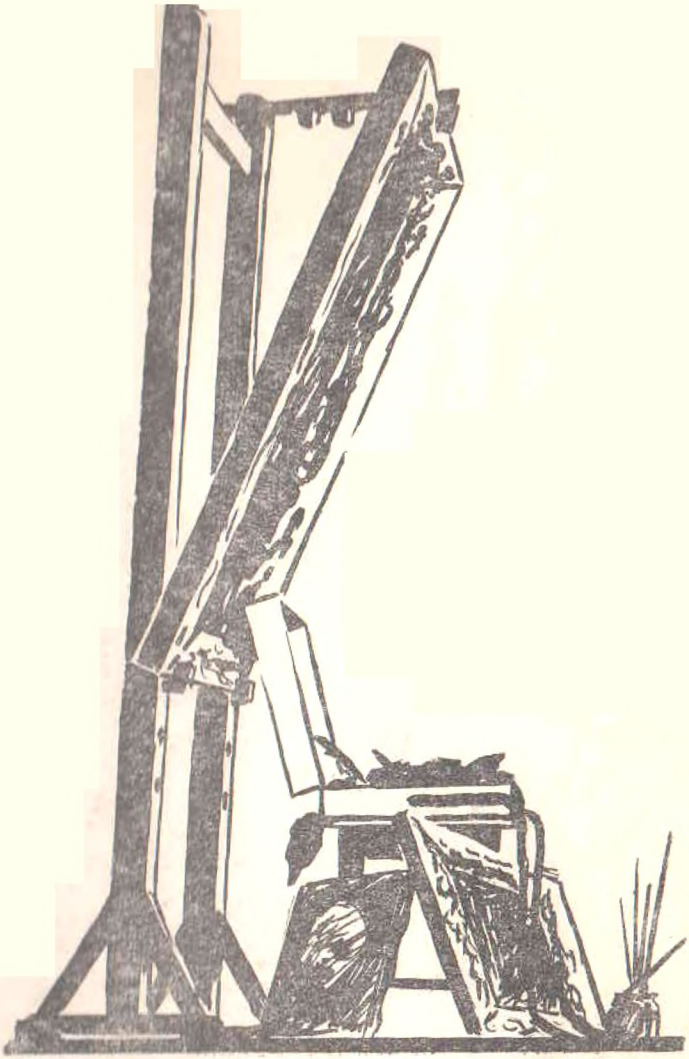
ААЛЫ ТОКОМБАЕВ



ВРЕМЯ ЛЕТИТ



К И Р Г И З Г О С И З Д А Т

ААЛЫ ТОКОМБАЕВ

ВРЕМЯ ЛЕТИТ

РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТИ

ФРУНЗЕ • 1958

ТАЙНА МЕЛОДИИ

За долгую дорогу мы подружились со стариком. Его чалая бороденка, будто приклеенная, гармонировала с его невысокой фигурой. На вид старику было не больше пятидесяти пяти лет. За эту грань, судя по внешности, его годы вряд ли перевалили. Когда старик говорил, он, словно магнит, притягивал к себе внимание тех, кто его слушал.

Чего только не приходится переносить путнику в дороге! Нас настиг проливной дождь и град. Вспыхивали молнии. Идти было почти невозможно. Мы едва брели, поддерживая друг друга.

— Эх, и повезло же нам! Неужели будет хуже?.. Как бы ливень не разыгрался еще сильней,— произнес один из спутников.

— Пусть только забрезжит рассвет, ливень рассвета не любит, тогда и кончатся дождь и гроза. Ну и нечестивая буря! — засмеялся другой.

— Ливень нас не задержит. Рассвет уже обливает небо,—вставил я, скользнув глазами в сторону невидимых спутников.

Тут опять вспыхнула молния, и я поймал выжидательный взгляд моего спутника—старика.

— Отец,— сказал я,— твои проницательные глаза, видимо, заворожили мой взгляд. При свете молнии они сверкнули еще ярче, и я до сих пор ощущаю их властную силу. Так зачаруй меня теперь и силою твоего слова.

Один из спутников промолвил:

— Скуку долгого пути и страх рассеивают рассказы, затейливые, как вышивка.

— Сказал бы я вам: «Начинайте рассказывать», да боюсь насмешки: он, мол, надевает свой чапан, начиная с ворота. Так ведь? Ну уж ладно. Я не откажусь начать, но и вы не упрямьтесь, когда очередь дойдет до вас.

И старик откашлялся.

Гроза с шумом проносилась над нами. Старик начал свою повесть.

— Жизнь человека падает на землю, как вспышка огня, и спешит угаснуть... Историю, которой хочу вам рассказать, я узнал давно. Мне тогда было лет двадцать. Теперь, когда вереница моих дней достигла восьмидесяти лет, помню все ясно, хоть и стою уже у самого края жизни.

— Э-э, отец, ты ещё не дожил до середины ее, ты еще и сто лет будешь держать жизнь прочно, как в своем кармане!— ободрил я его.

— Спасибо на добром слове. Но смерть ведь не считается с пожеланиями,— возразил старик и вернулся к начатому рассказу.

— Это было в самом разгаре лета. Солнце, подобное золотой чаше, начинало склоняться к своему пределу. Огненные лучи окрасили горизонт таким густо-багровым цветом, будто хотели поджечь его. Облака над заходящим солнцем, словно дым, величественным пожарищем окаймляли золотом угасающее пламя. А над ними постепенно сгущался трепетный сумрак мглистого покоя.

В ту пору года на джайлоо особенно привольно. Я ехал; высокая густая трава цеплялась за стремена; безвольно качались головки цветов, колеблемые ветром. Жара и долгая езда утомили меня. Хотелось прилечь отдохнуть, но мучил голод.

«Будь, что будет,— решил я,— поднимусь еще на тот перевал и, если там не будет аилов, лягу прямо в степи!» Я вскачь выехал на вершину. Перед моими глазами предстало множество аилов, разбросанных по отлогому склону. Они выступали пятнами на свежей траве новых кочевий, безбрежных, как море.

Я пустил коня во весь опор, как хабарчи подскакал к юртам аила, сгрудившимся на холме, и произнес салам.

От кучки людей быстро отделился смуглый джигит, опоясанный красным матерчатым поясом — куру, и принял у меня коня.

— Иди, сынок, иди сюда! — обратился ко мне сидевший в центре сборища желтолицый тучный старик и указал место по правую сторону от себя.

Беглый взгляд на одни его веки обличал в нем прежнюю удаль и силу — так выпуклы были они. Его глубоко запавшие глазницы напоминали собой колодцы, из глубины которых остро сверкали зрачки. Хищный нос, как могучий клюв, загибался к провалу беззубого рта. При взгляде на его полное лицо нельзя было сказать, что он очень стар, но оттопыренные, совершенно бескровные уши и острота хрящеватого носа сразу выдавали его возраст.

В руках старик держал комуз, сделанный из древесины урюка, по-видимому, давний спутник своего хозяина: до того он покраснел и залоснился от прикосновений. Тенкек комуза своей краснотой также говорил о долголетнем существовании.

— Удачлив ли был твой путь? — спросил меня старик, слегка бренча на струнах комуза, и начал тихонько напевать заунывную мелодию.

Слышал ли он мой ответ или нет, этого нельзя было узнать по его лицу. Казалось, что он всегда сидит вот так, в одном положении, никого не видя перед собой, ни о ком не думая, никого не слыша.

«Это, верно, чванливый гордец или выживший из ума старик»,— подумал я. Но в действительности оказалось иначе. Старик как будто прочитал мои мысли:

— Сын мой, ты, видно, человек наблюдательный: прежде, чем разговаривать с путником, надо его угостить. Подай-ка сюда кумысу,— крикнул он и, подтянув колок комуза, вновь затянул свой печальный напев.

— Сын мой, ты, видимо, едешь издалека? Употребляешь ли ты насвай? — спросил меня старик, опять обрывая мелодию.

— Употребляю, отец,— сказал я,—но у меня сейчас нет табака. Посмотри мою чакчу. Мне нечем тебя угостить.

Но старик и не ждал от меня угощения, он вытащил из широкого узорного голенища рог-чакчу, высыпал себе на ладонь щепотку насвая и бросил чакчу мне на колени. Он подождал, пока я возьму в рот горстку, и только тогда уже высыпал свой насвай под язык. Потом тронул струны комуза и вновь затянул прежнюю мелодию.

Пока пили кумыс, старик раз десять повторил один и тот же мотив.

Была ли его песня неинтересна сидящим или они ее не понимали? Этого нельзя было угадать по равнодушным лицам окружающих. А старик, много раз повторив свой напев, снова обратился ко мне с вопросом:

— И-и, сынок! Здоровы ли твои сородичи? Ты, видно, собрался стрелять оленей? И-и, сынок! Каким ты искусством владеешь?—И он снова затянул свой напев. Казалось, все помыслы, все желания старика вращались вокруг этой единственной мелодии...

Понимали ли окружающие его люди мелодию или нет — для него было безразлично: сам он себя понимал, и, казалось, для него никого не существует.

Так и не удалось мне разгадать странное поведение старика. Внезапно он произнес:

— И-и, сынок! Войдем в юрту.

Закололи барана, мясо положили варить в казан, а старик все тянул свой мотив.

— Как называется эта песня, аксакал? — спросил я сидящего рядом со мной пожилого мужчину.

— Не знаю, и никто этого не знает,— отвечал он мне.

— Вы же из этого аила, как же вы не знаете? — настаивал я.

— Да, братец мой,—сказал он, улыбаясь,—я из этого аила, но я на пятьдесят лет моложе аксакала, и он не отвечает на мои вопросы. И нет среди нас такого, кто был бы ему ровесником и мог бы спросить... Поэтому никто ничего не знает о песне старика.

Эти слова еще больше подстрекнули меня. Во что бы то ни стало я должен узнать тайну этой мелодии! Старик как будто только и ждал этой мысли:

— Э-э, сынок! Умеешь ли ты играть на комузе?—спросил он, закручивая колки.

— Судьба не одарила меня этим искусством, чем я очень огорчен. Но слушать я могу без конца.

— Э-э, сынок! Всякая жизнь складывается по-своему. Если бы каждый достигал того, чего хотел, разве не стал бы весь народ святым? Разве осталась бы тогда горечь неудачи? — сказал старик, продолжая настраивать комуз.

Я не сдержался:

— Отец, я хочу задать один вопрос: разве желание одного народа в одном аиле для другого не свято? Не покраснею ли я от стыда, не получив от тебя ответа?

— Нет, сынок. Гость — это счастье. Кто пожалеет для гостя — пожалеет для аллаха. Получи, что просишь.

И он взялся за гриф комуза, застыв в ожидании, как беркут, выслеживающий пташку. Я сказал старику:

— Народу дорог доблестный батыр. Батыру дороги его народ и земля. Для них обоих драгоценно высокое искусство. Для меня таков твой напев. Но для меня он — загадка. Ты так печально поешь, а причина грусти неизвестна. Может быть, ты играешь эту мелодию уже несколько лет? И никто ничего о ней не знает. Если мой вопрос не причинит тебе боли, раскрой мне тайну твоей печали.

— Ах, нет, сынок мой, нет,— досадливо воскликнул старик.— Это не выйдет!

— Получи то, о чем просил,— вырвалось у меня.

— И все же я не могу тебе ответить. Эту тайну я храню уже семьдесят семь лет, с семнадцатой весны своей жизни. Я не смею раскрыть тайну напева никому, пока мучоль не обернется вокруг земли десять раз. Такую дал я клятву... Что делать? Пусть пропустит аллах эту клятву мимо себя: я страшусь мести мертвеца, не должен наносить я обиду и живому,— задумчиво промолвил старик.

Он вновь постучал чакчой о подошву расшитого сапога, высыпал насвай себе на ладонь и, угощая меня, сказал:

— Держи, сынок, руку.— Потом уставился взглядом в землю и несколько мгновений сидел молча.

Я сплюнул насвай, и старик приступил к рассказу.

— История моя на этом месте началась, на этом месте и кончилась, сынок. Это случилось в самую счастливую летнюю пору джайлоо, как раз вот в это время дня. Был я тогда ребенком. Всякий раз, когда жеребят спускали с привязи, я гнал их до самого родника. Постоянным моим конем была неоседланная каряя двухлетка. Никто не поручал мне гнать табун. То было детской забавой. Пригнав жеребят к водопою, я обычно не переправлялся на ту сторону источника, а ехал назад.

Однажды, когда я пригнал жеребят к источнику, спустился густой туман. Я довел табун до воды и поехал обратно, ничего не опасаясь. Вдруг передо мной появился ры-

жий могучий джигит верхом на белоснежном резвом скакуне и спросил:

— Чей это аил?

И не успел я ответить, как он схватил меня за шиворот, словно беркут куропатку, и сдернул с коня. Я не испугался — привык я к грубоватым шуткам друзей моего отца и подумал, что всадник — один из них. Но сильная рука могучей хваткой беркута так сжала меня, что кости мои заныли.

— Дядюшка, спине больно! — вскрикнул я.

Он спокойно возразил:

— Ничего тебе не сделается!

Подняв полу чапана, он посадил меня сзади себя на свернутый халат, прикрепленный к седлу. Потом опять плотно запахнул полы своего чапана. Мне сдавило все внутренности, и сердце мое замерло от страха.

— Отец! — крикнул я, стараясь вырваться.

— Молчи! — приказал он, и еще плотнее запахнул чапан. — Если будешь плакать — убью! Замолчи,— повторил он.

Я умолк. Я понял, что стал пленником и спросил, всхлипывая:

— Байке, куда ты меня везешь?

— Ничего у меня не спрашивай. Если еще раз откроешь рот, то умрешь,— пригрозил он снова.

Больше я и не пытался заговаривать. И только всхлипывал время от времени.

Я не мог видеть ни всадника, ни дороги и не знал, куда меня везет похититель. Когда стемнело, сойдя с коня, он вынул из курджуна еду и накормил меня, по-прежнему не проронив ни слова.

И вот в тот час, когда народ отправляется на покой, мы прибыли в многолюдный аил, лежащий на возвышенности. Тут уж я не был закрыт чапаном и мог все видеть.

В самом центре аила выделялась большая юрта, белая, как скорлупа яйца. Джигит подъехал к небольшой кибитке с войлочным верхом, что была расположена несколько ниже центральной юрты, и кого-то позвал. Из кибитки отозвался чей-то голос, и на пороге появилась тень.

— Вот тебе обещанное. Прими,— вручил меня джигит, а сам поскакал дальше.

Юрта, куда меня ввели, стояла рядом с юртой именитого бая. Сморщенная, почерневшая старуха несколько минут испытующе рассматривала меня своими узкими прищуренными глазами и, наконец, ласково сказала:

— Сынок, ты, наверное, чей-то любимый ребенок. Не бойся, садись. И у тебя, верно, есть мать? Мать всегда страдает страданиями своих детей, радуется их радостями. Видно, тяжело ей теперь, но что делать? Таков уж обычай, сколько я ни живу на свете! — Старуха погладила меня по голове, поцеловала в лоб и добавила: — Покушай, мой кулун, покушай!

С этого дня и началась для меня жизнь раба. Жители аила пришли посмотреть на меня. Хотя я забился в угол, сидел, как запуганный зайчонок, каждый задавал мне вопросы, заводил со мной разговор.

Аил начал засыпать. Меня уже не опасались. Я не мог никуда бежать, это для всех было ясно.

— Подложи себе верблюжье седло и укройся вон тем кементаем, сынок,— сказала старуха. В юрте другой постели не было: ничего не поделаешь — лег. Разве сон — позор? Сколько я ни погружался в реку разных раздумий, все же уснул!

— Ой, бала, вставай!

От этого окрика я раскрыл сонные глаза. Уже рассвело. Нарядная юная девушка, наклонившись, смотрела на меня. Заплетенные в косички — по десять с каждой стороны — черные, как уголь, волосы колыхались волнами, спускались до самой земли, почти касаясь моей головы.

Оттого ли, что я крепко спал, мысль о моем рабстве на мгновение покинула меня, и я проснулся очень радостным

— Откуда тебя привезли? Из какого ты аила? — спросила девушка, улыбаясь.

— Не знаю!

— Сколько тебе лет?

— Десять.

— У тебя есть братья и сестры?

— Нет, я один!

— Тогда пойдем со мной. Ты будешь жить в моей юрте,— сказала девушка. Две женщины, сопровождавшие ее, не проронили ни слова. Они поправляли на спине девушки косы и о чем-то шептались между собой.

Пока я одевался, старуха сказала:

— Доченька! Ты тоже одинока, не мучай его, будь с ним поласковей. Ведь еще материнское молоко не обсохло на его губах, он тоже единственный сын своих родителей. От ребенка можно всего ожидать. Ребенок все равно что яйцо... неизвестное. Из яйца может выйти и ворона и сокол. Если мальчик будет батыром, то это счастье для нашего аила. Сделай его своим младшим братом, ненаглядная ты моя.

— Матушка,—ответила девушка, смеясь,—я последую твоим словам, сделаю его младшим братом, и ты мне скажи, если он будет выглядеть плохо. Как твое имя? — обратилась она ко мне, взяв меня за подбородок, так как я стоял, понурив голову.

— Зарлык.

— Айланайын... Ты, оказывается, единственное дитя— предмет чьих-то забот и огорчений. Отец и мать, видно, и сейчас несут на себе груз печали и горя о своем Зарлыке. Живи, сынок, не умирай,— сказала старуха и, погладив по голове, поцеловала меня в висок.

— Иди, мой кулун. Иди со своей сестрой! — прибавила она.

Дойдя до этого места рассказа, старик погладил седые нависшие брови и рассеянно забренчал на комузе привычную мелодию.

— Карыя, оставил бы ты комуз и кончил рассказ,— обратилась к нему старуха лет шестидесяти.

— Ладно! Видно, и тебе захотелось послушать,— старик чуть улыбнулся и оставил свой комуз, прислонив его к неразгибающимся коленям.

— Если б не наш гость, твой рассказ ушел бы в могилу вместе с тобой, говори же! — настаивала байбиче.

— Уж ладно, старуха! Правду ты говоришь,— сказал он и, как бы желая проверить, слушает ли другая жена, насупясь посмотрел на нее.

— Рассказывай же, карыя! Ведь не только наши просьбы не имели успеха, но когда тебя просила даже твоя ненаглядная корер-кез, что моложе твоей внучки, и тогда ты не рассказывал,— нетерпеливо промолвила его вторая жена, женщина средних лет.

Корер-кез — молоденькая смуглая красавица. Она слушала рассказ старика без особого интереса. Видно было, что маленькие тайны, о которых она время от времени

шепталась со своими сверстницами. гораздо больше занимали ее.

Бывалый старик понимал это. И хотя страсти и волнения покинули уже дряхлое тело — душа его была задета таким безразличием, ревность была последним жалким отблеском прежних желаний.

— Думы корер-кез сейчас далеки от моего рассказа. Да ей он и не нужен,— сказал старик с горечью.

Корер-кез пропустила упрек старика мимо ушей. Старик продолжал свое повествование.

— Так вот! Шесть долгих лет провел я в услужении у девушки. Отец ее, именитый человек аила, был окружен особым почетом. У его дочери была отдельная юрта. Девушке прислуживал работник-малай и его семья. Я стал чайным прислужником девушки.

Жена работника — милая молоденькая келин — была искусна в словах, ловка в работе, как вихрь проворна. Мы подружились с ней. Но спал я не в юрте малая, а у порога шатра девушки.

То, что у порога ее юрты спал раб, считалось в то время особенно почетным. Этот обычай сейчас уже исчезает, сынок.

Кто и зачем меня сюда привез,— об этом я узнал от этой келин.

— Ты — раб, который вошел в калым этой девушки. Привез тебя сюда ее жених — могучий батыр. У него есть быстроногий скакун белой масти и меткое ружье—акчагыр. Отец девушки сказал джигиту: «Отдай мне одно из этих двух или приведи трех рабов». Джигит не дал ни коня, ни ружья, а привел ему трех рабов. Третий из них — ты, Тех двух, что он привел раньше тебя, подарили двум именитым людям. Ты же, видно, под счастливой звездой родился: если б отдали тебя в подарок другим, ты погиб бы.

Иногда девушка, одевшись по-мужски, вместе с джигитами отправлялась верхом в степь. Из поездок привозили убитых оленей, архаров, волков, иногда и снежных барсов. Трудно было в пути разобрать — кому какая добыча принадлежит. Дележ происходил обычно по возвращении, в центральной юрте. Но я туда редко ходил. Меня туда не тянуло. Кроме того, эта сдержанность считалась добрым

признаком скромности, а скромность раба всегда вызывала уважение в аиле. Говорили: «Он хоть и раб, но с достоинством, глаза у него не завистливые». Я радовался таким словам и всеми силами старался поддержать такое мнение о себе. Все, что происходило в большой юрте, чаще всего я узнавал от самой девушки. Для забавы ли, для легкого ли хвастовства, или от жалости, когда ей не хотелось спать, она, лежа на своей постели, рассказывала мне разные вещи.

Я называл ее «ласковой тетей», а весь народ аила звал ее «ласковой девушкой».

Жених девушки со своими друзьями время от времени приезжал и проводил несколько дней в ее аиле. Однажды, в самый разгар лета, джигит приехал опять. На этот раз он был один. Но, по старинному обычаю, ему, как гостю, отвели особую юрту.

По обыкновению, днем тетушки приводили девушку к жениху в юрту, а с наступлением вечера уводили ее обратно.

Тогдашние дети, сын мой, мужали раньше. До всего они доходили гораздо скорее. Я в эту ночь не спал. Когда аил начал засыпать, джигит пришел к своей невесте. Я не мог равнодушно видеть его, хотя весь народ называл его «батыром» и хвалил. Но в чем заключалось его богатырство, я до сих пор не знаю. Затаив дыхание, я прислушивался к их словам. Вскоре их разговор перешел в размолвку.

Каждый раз, когда девушка противоречила ему, моя душа радовалась: «Хоть бы она поссорилась с этим джигитом»,— думал я про себя.

Их разговор до сих пор сохранился в моей памяти! — сказал старик и умолк.

Один из слушателей время от времени одобрительно покачивал головой и иногда вскрикивал: «Ну и чудеса!»

И на этот раз он закачал головой:

— Вот интересно!

Старик медленно тронул струны комуза, несколько раз провел по ним пальцами и продолжал рассказ:

— Эрке моя! Теперь калым уже весь выплачен. А отец твой опять выискивает препятствия. Не согласишься ли ты бежать?— сказал девушке джигит.

— Нет, мырза мой! Я единственная дочь моего отца, и пока не будет свадьбы, я не переступлю порога твоей юрты. А что еще затеял отец? — спросила девушка.

— Опять говорит: пока не отдашь коня или акчагыр, не отдам я тебе дочь.

— Умиротвори моего отца, отдай что-либо из двух. Отец мой никогда не отступит от своих слов.

— Нет! Ценой коня или оружия я никогда не возьму себе жены,— резко возразил джигит.

— Пока мой отец не получит того или другого, я не стану твоей,— оборвала джигита девушка.

Разговор их продолжался недолго.

— Если я отдам коня или ружье, пусть лучше я возьму не тебя, а собственную мать.

Гордость девушки была глубоко задета.

— Если ты не отдашь что-нибудь из двух, пусть лучше я достанусь собственному отцу,— сказала она.— Сам знаешь: у киргизов сильнее этой клятвы ничего нет.

Спор девушки и джигита все разгорался. Джигит, поднявшись, промолвил:

— Я заставлю тебя состариться в доме твоего отца: сам не возьму, и другому в жены ты не достанешься. Если вздумают тебя кому-либо отдать, то я разграблю твой аил вплоть до красных кереге. Тебя же посажу на лошадь без седла и сделаю своей рабыней.

Девушка не испугалась угроз:

— Если ты в течение трех месяцев не отдашь отцу ружья или коня и не придешь за мной, то я сама, по своей воле, выйду замуж хоть за раба. Если ты действительно мужчина, то мсти мне, а не аилу, ведь аил ни в чем не виновен.

— Если ты в течение трех месяцев не выйдешь за меня по доброй воле, то я увезу тебя, как вечную рабыню. Пока у тебя есть рассудок, опусти свой подол,— сказал гневно джигит.

— Если ты не сможешь сделать меня рабыней, пусть проклянет тебя мохнатая грудь земли.

— Если ты не выйдешь замуж, пусть тебя проклянет бездонное небо!

Они больше ни о чем не говорили. Джигит не стал дожидаться рассвета. В знак обиды и угрозы он уехал из аила в середине ночи.

После отъезда джигита девушка несколько дней ходила совсем безмолвная. Радость переполняла мою грудь. «Девушка не достанется ему!» — ликовал я. Но в то же время я думал: «Чьей же она станет женой?»

Однажды девушка приготовлялась ко сну, взбила подушки, встряхнула шелковые одеяла и тюфяки и сказала мне с улыбкой:

— Малютка мой! Ты ложись на средину, ближе ко мне. Постели этот джууркан.— И она бросила мне стеганое одеяло.

— Возьми себе одну из подушек и взбей,— прибавила она.

Я лег недалеко от ее постели. Внутри у меня что-то заклокотало. Но я не понимал — что?

Девушка начала меня расспрашивать:

— Твой отец именитый человек? Ты знаешь, с какой стороны ты прибыл? Сколько дней пути отсюда до вас?

Мое сердце радостно забилось. Я начал преувеличивать знатность моего отца и на все вопросы отвечал: «знаю», если даже не знал.

— Ты не помнишь, во время тяжбы твой отец брал выкуп или сам платил? — спросила она.

— Знаю. Когда мне было восемь лет, вышла крупная ссора и драка, и на наш аил пал кун за убийство девяти человек. Мой отец ни за одного из этих убитых не заплатил. Народ нашего аила очень многочислен и силен. Он сам обвинил требующих уплату куна и угнал три десятка голов скота и одну девушку. В другой раз тоже так получилось. У наших близких родственников была красавица-дочь. Отец ее жениха был очень богат, а жених—могучий батыр. Когда был выплачен калым, мой отец добавочно попросил у них знаменитого скакуна Керкунана. Но жених не дал его и пригрозил, что силой увезет девушку. Тогда отец рассердился, взял и отдал девушку другому человеку. Кончилось тем, что была крупная стычка, в которой погибло немало мужчин. Сторонники жениха были побеждены и примирились с отцом, отдав три девятки голов скота и одного раба,— так присочинил я.

Видно, девушка поняла мою ложь. Она звонко рассмеялась и спросила меня:

— Я хочу с тобой бежать. Ты любишь меня? Сумеешь меня спасти?

Оттого ли, что я вырос рабом, или по молодости, но я совершенно растерялся от ее слов. Однако я быстро оправился и, на миг вообразив себя свободным человеком, с достоинством ответил:

— Отчего ж не суметь? И я ведь джигит, и у меня есть род, хоть я и вырос, как дикий волчонок.

Я не хотел возвращаться в свой аил с пустыми руками, без богатства и славы.

Девушка рассмеялась еще громче. Она прекрасно понимала и мою деланную храбрость, и непобедимое желание выбраться на свободу.

— Ты очень молод, но сердце у тебя мужественное. Ты будешь красивым и славным джигитом. Ты и умен. И все-таки, несмотря на это, ты сейчас немного торопишься, ничего не обдумывая. Правда ведь? — спросила девушка.

— Нет, я все обдумал, я правду говорю. Отчего не спасти девушку? — возразил я.

— Ладно уж, ты неправду говоришь, — промолвила она, высунула руку из-под одеяла и потрепала меня по подбородку. Я не выдержал: быстро схватил ее за локоть и лег рядом с ней. Девушка крепко-крепко прижала меня к себе.

Несмотря на юный возраст, я был рослым, как двадцатилетний джигит, сердце у меня было мужественное.

— Говорят, если раб разгорячится, то он и в колодец забросит удочку. Не подражай ему и не гордись пока. Иди теперь, ложись на свое место,— сказала девушка, отстраняя меня. Но я, не говоря ни слова, сильными руками продолжал прижимать девушку к своей груди. Случайная прихоть девушки сразу улетучилась. Может быть, заговорила девичья стыдливость.

— Я непременно буду твоей. Но лягу в твои объятья только тогда, когда приедем в твой аил, когда голова моя будет в безопасности. Теперь же твое желание не может исполниться. Наутро встань, поезжай к стадам и под этим предлогом осмотри дорогу, по которой тебя привезли. В табунах есть быстроходная верблюдица с медным кольцом в носу. Вот ее ты поймай и объезди,— сказала она.

— Которую? Не ту ли, что твой отец привязывает к своей юрте?

— Именно эту. Она самая быстрая из всех верблюдов—не копыта, а ветер. Мой отец боится, что ее уведут,

привязывает ее к своей юрте и все время прислушивается к ее жеванию. Ты три дня тайком ее объезжай. На третью ночь, в самую середину, тихонько поднимись, пройди к юрте отца и отвяжи ее. Но повод запутай, будто она сама отвязалась.

Я не спрашивал, зачем все это нужно, но начал действовать по ее указаниям. В первую ночь, когда я отвязал верблюдицу и она недалеко отошла от юрты, вышел отец девушки и вновь привязал ее к юрте.

Когда я отвязал ее во второй раз, верблюдица отошла дальше. Отец девушки опять вышел, посмотрел и вернулся в юрту. Когда я отвязал верблюдицу в третью ночь, отец не выходил совсем из юрты, но наутро сказал:

— Как бы я ни привязывал Желмаяну, ничего не получается, она все время отвязывается и уходит. Видно, ее уводит покровитель Ойсулаты.

Я услышал его слова и замер.

— Что бы ни сказал отец о верблюдице, непременно все говори мне,— предупредила девушка.

Поэтому я немедленно передал ей слова отца.

— Это чудесно! Отец мой уже введен в обман,— сказала она.— Теперь, как только в аиле начнут засыпать, уведи верблюдицу в ложбину, навьючь на нее вот эти кошмы, а джуурканы привяжи сверху.

Мне казалось, что вечер тянулся целый месяц. Чудилось, что наша сокровенная тайна стала известна всему аилу.

В главной юрте были гости, поэтому улеглись там довольно поздно. Гости расположились у дверей. Это показалось мне счастливым предзнаменованием.

Месяц клонился к закату. Сытые гости быстро захрапели. Я взял верблюдицу и двинулся в лощину. Быстро спутав ей ноги, я вернулся в юрту девушки. Она торопливо собирала свои вещи.

— Скорее, как бы не наступил рассвет! — Она была одета по-мужски и подпоясана кушаком. Я отнес кошмы и джуурканы, навьючил верблюдицу и снова вернулся. Девушка с усилием тянула два больших курджуна и никак не могла перетащить их через порог. Я хотел поднять один, но не смог сдвинуть с места. Девушка засмеялась. Мы потащили вдвоем и кое-как снесли к лощине. Тут она тревожно воскликнула:

— О, кокуй! Ты плохо навьючил верблюдицу. Скорее все отвязывай.

Я быстро отвязал кошмы. Девушка переседлала верблюдицу, плотно привязала курджуны и сказала:

— Если ты не обидишься, я сяду впереди. Ты не умеешь управлять верблюдом,— и, не дожидаясь моего ответа, села на спину животного. Овцы, фыркая, начали подыматься и расправлять спины и ноги. Это было признаком близкого рассвета.

— Садись быстрее! — И девушка указала мне на петли аркана, сделанные наподобие стремян.

— Устроился ли ты? — спросила она.

— Устроился.

Сердце мое стремительно рванулось. Тогда мне думалось, что нас поймают прежде, чем мы выедем из аила. И я не в силах был ничего произнести, кроме: «Устроился».

— Крепко сиди, не бойся! — ободрила она меня и ударами камчи подняла верблюдицу. От толчка я чуть не выпал из седла. Было трудно понять — касаются ли ноги верблюдицы земли или она просто летит. Земля как будто переворачивалась. Внезапно, неизвестно откуда, налетел ветер, и из глаз моих полились слезы. Вдруг послышался резкий свистящий звук, подобный тому, который возникает при стремительном полете беркута, преследующего лисицу. Сначала я не понял, откуда он идет.

— Хорошо тебе ехать? — послышался голос моей спутницы.

— Да! — ответил я и тут понял, что свистящий звук происходит от нашего стремительного бега.

Совсем рассветало. Вокруг не было видно не только аилов, но даже скота. Я не узнавал мест, по которым мы ехали. Когда солнце поднялось на расстояние выстрела, девушка натянула повод верблюдицы. Но та продолжала нестись вперед, рассыпая во все стороны белую пену, и лишь потом замедлила бег. Пока солнце не достигло зенита, мы ехали медленно. Затем снова понеслись как на крыльях. Когда же вечер начал спускаться на землю, мы прибыли на берег реки, связали верблюдице ноги и расположились поесть и отдохнуть.

— Если батыр погонится за нами, то настигнет нас не раньше завтрашнего утра. Кроме него, нас никто не сможет догнать. Если сумеем скрыться от батыра, то бу-

дем спасены. Но нужно довести клятву до конца. И если он настигнет нас — мы не должны бежать. Так ведь? — спросила она.

Я не смог произнести ни слова в ответ и только кивнул головой. Девушка улыбнулась, заметив мое волнение.

— Он ведь тоже человек, его искусство есть и у нас. Ты не бойся, если умрем,— умрем вместе!

Хотя она сама затеяла все, что мне и в голову не приходило, и сама распалила во мне огонь любви, но и моя любовь обрела силу. Меня нисколько не страшила смерть, лишь бы погибнуть вместе. Я крепко ее обнял и поцеловал.

Наутро, по холодку, когда тени были длиннее, чем отбрасывающие их предметы, сзади показался высокий столб пыли.

— Эту пыль поднял батыр. Теперь наберись мужества,— остановила девушка верблюда и, взяв лук, сделанный из рога теке, начала натягивать его. В мгновенье ока батыр оказался рядом и крикнул:

— Бесстыдная! Теперь ты стала пленницей.

Девушка повернула верблюда боком и ответила:

— Я исполнила свое обещание. Поворачивай коня, иначе погибнешь.

И она начала прицеливаться, опершись на шею верблюда.

Когда он приблизился на расстояние выстрела, то взял в руки акчагыр и, остановившись, крикнул:

— Пока ты еще жива, иди ко мне! И придешь — сделаю рабыней, и убежишь — сделаю рабыней. Слышишь ты это?

— Послушай моего совета: вернись назад. Моя рука не поднимается на тебя. Я не хочу твоей гибели. Я только спасла свою честь,— сказала девушка.

Гордость не позволила джигиту подъехать ближе, и он резко приказал девушке:

— Подойди ко мне, поклонись! Я тебе сохраню жизнь, но сделаю вечной рабыней!

Девушка как будто родилась для спора:

— Если ты не сможешь сделать меня рабыней, возьми свою мать вторично! — крикнула она и вновь погнала верблюдицу вперед.

Джигит взревел, как лев, раненный выстрелом:

— Погибни! Пусть твой грех падет на тебя! Погибни!

Зияющее дуло его ружья было устремлено на нас. Пока он целился, девушка остановила верблюдицу, поставила ее в прежнее положение и повторила еще раз:

— Возвращайся пока не поздно, моя рука не поднимается на тебя.

— Иди, когда я зову, или ты — моя вечная рабыня. Покоряешься или нет? Отвечай, собака!

И он, наведя ружье, ждал ответа девушки.

Вместо ответа она спустила стрелу. Правая рука джигита безвольно упала, как подрубленная.

— Прощай, ты не внял моему совету. Это будет тебе памятью навсегда.— И девушка вывела верблюдицу на дорогу.

Мы опять быстро помчались вперед. Джигит не долго мешкал из-за перебитой руки. Схватив в левую руку меч, раскрыв рот, он, как волк, помчался в погоню. Копыта его скакуна едва касались земли. Джигит мчался, ударяя коня тупой стороной меча. Девушка опять выпустила стрелу, оперенную, как горная ласточка. У летящего скакуна подкосилась передняя нога. Но разгоряченный конь не замедлил бега, и только приблизившись к нам, он споткнулся и упал.

Но джигит, успев соскочить с коня, побежал к нам. Его правая рука бессильно болталась.

Девушка, держа в руке лук, проговорила:

— Я выполнила одну мою клятву. Другую же прощаю из-за твоего мужества. Помни до самой могилы, что честь одинаково дорога и мужчине и женщине.

И мы снова двинулись в путь,— заключил рассказчик.

Когда старик дошел до этого места, ярко вспыхнула змейка молнии. Стало видно на миг, как старик рукой погладил свою бороду.

— Карыя, похоже, что ты открыл крышку сокровищницы слова. Мы и про грозу совсем забыли. До рассвета осталось немного, но ты уж, пожалуйста, доведи девушку и жениха до их аила,— попросил я.

Один из спутников прибавил:

— Эх, джигит, ну и мужчина! Да и девушка несравненная, чудесная! Если услышал эту повесть из уст очевидца, разве ее забудешь.

— Да и ты ведешь рассказ так, будто сам там участвовал,— сказал другой.

— Э, сынок. Те люди были особого рода. Мой рассказ и вполовину не так интересен, как его. Когда он рассказывал, весь народ сидел, раскрыв рты, а люди, о которых говорили, казалось, стояли перед глазами! — И старик снова принялся за свою историю.

— Джигит, обняв левой рукой шею своего коня, остался неподвижен посреди пустынной степи. Не замедляя шага верблюда, девушка сняла стрелу со своего лука, разломила ее и выбросила, не произнеся ни слова. Только тогда я понял, как непреклонна ее гордость.

Налетевший ветер, понемногу усиливаясь, покрыл широкую степь завесою пыли. Кто знает, может быть, эта пыль была смутным очертанием горя джигита?..

После трех дней пути девушка спросила:

— Посмотри-ка, Зарлык-джан! Вот эти горы не похожи на ваши?

— Мне эта местность кажется очень знакомой, и все же я ее не совсем узнаю.

Немного погодя девушка сказала:

— Как бы нам не сбиться с пути. Должно быть, вот те туманные горы и есть ваши.— И она повернула верблюда в ту сторону.

С утра и до полудня мы ехали безостановочно и добрались до перевала.

Я воскликнул:

— Эрке моя! Это наше джайлоо! Видишь, в начале вон того перевала густой лес, еще ниже — заросли камыша. На самой опушке леса расположен наш аил. Вот на том месте я стал пленником. Может быть, и сейчас аил стоит по-прежнему?

— В суюнчи я отдала себя. Теперь я до самой смерти в твоей власти,— отвечала девушка.

Когда мы достигли вершины, нашим глазам открылись белые юрты, разбросанные на зеленом бархате лугов, как опрокинутые пиалы. От радости я закричал:

— Вот наш аил!

— А ты не ошибся?

— Нет!

Все мое существо затрепетало. Она посмотрела на меня в упор, сверкнув глазами, и сказала:

— Не спеши, джаным. Давай придем в аил, когда стемнеет.

Я согласился. Скоро мы достигли знакомого источника. Опустив верблюда на колени, мы начали умываться. Из аила слышались веселые крики играющих детей. Козлята, отбившись от матерей, блеянием нарушали дремотный покой спускавшегося вечера. Мое сердце взволнованно билось, к горлу подступали слезы, радость не вмещалась в груди.

— Вот теперь я совсем твоя, милый! — Она поправила свои волосы, дала мне приготовленные ею одежды и начала одеваться в свои наряды. В молочно-туманном свете луны ее смутно белевшее нежное тело показалось мне особенно красивым.

Я оделся раньше и поцеловал ее в щеку. Ее запах, подобный гвоздике, до сих пор памятен мне... Маленькие упругие губы, нежные, как у грудного ребенка, заставляли трепетать все мое тело.

Средняя жена старика в этот миг раздраженно сморщила нос, досадливо втянула губу и сказала:

— Не отклоняйся от рассказа!

Но старик не слышал ее слов и продолжал:

— Пока мы приводили себя в порядок, смолкло блеянье козлят, затихли крики ребятишек.

— Теперь, милый, отправляйся в аил и узнавай — здоровы ли твои. Если отец и мать живы, то насыть их радостью. Потом возвращайся за мной. Если мы появимся вдвоем, это будет против обычая,— сказала она.

Когда я бегом достиг аила, на меня с лаем напали собаки, послышались окрики чабанов, и несколько человек вышли мне навстречу.

— Ты кто?

— Я — путник!

— Куда идешь?

— К Чоро. Жив ли он, здоров ли еще?

— Сам-то Чоро здоров, но глаза его ослепли,— молвил один.

— Старуха его жива ли?

— Жива-то—жива, да не встает с постели. Она потеряла силы с горя после пропажи единственного сына,— сказал второй.

— Тогда, друзья, поведите меня к ним, я—их пропавший сын.

— Суюнчи, Чоро! Суюнчи! Твой Зарлык вернулся!— И койчи, перебрасываясь взволнованными словами, потащили меня по направлению к дому. Оттуда выскочили какие-то люди, с радостными возгласами окружили меня и ввели в юрту...

Мой отец стоял посреди юрты и весь дрожал, опираясь на палку. Я крепко обнял его. Вся родня сгрудилась вокруг и чуть не задушила меня в своих объятьях.

— О мой кулун! — послышался бессильный голос матери, и ее изможденное лицо медленно повернулось ко мне.

Когда я молящим голосом произнес: «Анаке!», её худая рука протянулась ко мне. Но не дотянулась, бессильно упала на постель... Больше она не пошевелилась, не произнесла ни слова. Я смочил горячими слезами холодную грудь моей матери...

Мой отец взволнованно сказал:

— Твоя мать была рада... Она слышала твой голос, дитя моё!

В суматохе и радости я забыл обо всем. Когда луна поднялась к средине неба, отец мой спросил:

— Ну, сынок, как ты прибыл? Где ты был?

Только тогда я вспомнил про девушку.

— Атаке, я расскажу про это потом. Я привел вам сноху. Она ждет меня у источника.

Весь народ окружил меня, и, оглашая тишину звонкими криками, мы двинулись к источнику. По пути древняя старуха обрызгала меня водой и, наполнив чашку снова, пошла с нами вместе.

Но у источника не оказалось ни девушки, ни верблюда...

— Как же так? — удивился один.

— Верно, она испугалась и пошла поближе к аилу,— сказал другой, смотря на меня.

— Что это там лежит? — крикнул третий, указывая на какую-то шевелящуюся в темноте массу. Старики остались, а мы все побежали туда.

Тот, что добежал быстрее всех, крикнул:

— О, кокуй! Кажется, тут неладно! — Помолчав минуту, он вновь воскликнул: — Беда! Ее растерзал джолбарс...

Девушка лежала, защищая голову рукой, без признаков жизни. Верблюдица, еще полуживая, терлась шеей о землю, дергая ногами. Я упал, обняв девушку...

...Вот, сынок, с тех пор этот печальный напев и стал моим постоянным спутником. Этот мотив живет только во мне и исчезнет вместе с моей смертью. Вот тайна моей мелодии, сынок! — заключил он.

Наутро старик повел меня с собой и показал могилу девушки.

— Вот, сынок! Девушка покоится здесь. Я не дал раскрыть ее курджуны и похоронил их вместе с нею. Что в них было, не знает никто, кроме могилы. Посмотри, сынок! Никто не догадывается, что это могила. Так себе, невысокий холмик, покрытый зеленым дерном. А скоро и совсем с землею сравняется... Мне теперь 108 лет. Вскоре и я туда отправлюсь.

И он с каким-то радостным волнением сел на холме.

До сих пор образ этого старика, как живой, стоит перед моими глазами. Кажется, что он уже отправился вслед за девушкой... Да и жених-батыр, верно, давно уже повстречался со своей несговорчивой невестой! — так закончил старик свой рассказ.

Гроза утихла. Наступил рассвет... Мы расстелили наши мокрые одежды на солнце и сели, приготовившись слушать другой рассказ старика.

ДААТ

Мы сидели на берегу бурного Арашана и разговаривали. Молодой широкоплечий джигит Абдулла, когда подошла его очередь, рассказал увлекательнейшую историю.

— Я ведь не писатель, как вы,— сказал он, взглянув на меня,— я всего только инженер шелкоткацкой фабрики. Если рассказ будет нескладен, не сердитесь! — И он смущенно улыбнулся.

На самом же деле Абдулла мастерски умел рассказывать. В такт речи он похлопывал ладонью о ладонь, как бы настраивая самого себя. Начал он так:

— В давно прошедшие времена жил на свете человек, известный под именем Акыл-аке. Может быть, настоящее имя у него было другое, но народ называл его Акыл-аке.

У Акыл-аке не было детей. Он ходил из аила в аил, рассказывая сказки, затейливые истории и тем приобрел любовь всего края. Акыл-аке ничего не просил у слушателей, но от подношений не отказывался и часть даров щедро раздавал беднякам, оставляя себе только немногое.

Но Акыл-аке не в силах был одарить всех желающих жемчугом своих слов. Тогда он собрал все свои сокровища, продал их и на деньги построил дом из пятнадцати комнат. В доме он поселил тридцать наиболее одаренных мальчуганов и начал их обучать своей мудрости. Он передавал им свои сказы, что были слаще меда, спокойнее воды, острее лезвия кинжала. Акыл-аке сам одевал и кормил своих учеников.

Люди перешептывались:

— Акыл-аке, видно, пресытился богатством, раз стал обучать бестолковых ребятишек и бросает добро на ветер.

Не лучше ли было бы ему пустить деньги в рост или же снарядить караваны и заняться торговлей.

Другие говорили:

— Акыл-аке не гонится за деньгами, а жаждет мудрости. Он хочет оставить после себя других мудрецов. То, что знает Акыл-аке, не знает никто — он соловей своего времени!

Все эти толки достигли и ушей Акыл-аке, но он не огорчился суждениями первых, не радовался словам вторых.

Он думал про себя:

«Всегда так бывает в жизни: одни порицают, другие хвалят. Я не расточаю ничьих богатств, я только раздаю плоды моего труда».

Люди из разных ханств приезжали послушать мудрые притчи Акыл-аке и жадно ловили его слова. Некоторые приглашали мудреца к себе, дни и ночи напролет заслушивались его речами, дивясь его уму и проницательности. Слава о нем росла изо дня в день, росли бессчетно и его богатства.

— Сокровища всех ханов — ничто в сравнении с богатствами Акыл-аке! — так говорили в народе.

Эта молва дошла и до ушей трех знаменитых разбойников: они прославились грабежами и убийствами многих ханов.

Хотя злодеяния грабителей были известны властям, никто не мог поймать злодеев, они оставались неуловимыми. Сегодня следы их обнаружились в Хиве, через несколько дней — в Самарканде, Бухаре или в Коканде.

Три искусных и ловких вора не раз опустошали сокровищницы властителей. И ханы всю жизнь затем не могли восполнить свои потери. Не только путники—целые караваны на пути из города в город исчезали бесследно. Разыскивать пропавших боялись.

Трепетали от страха перед разбойниками ханы, боялись за свои сокровища. Дрожали при имени разбойников баи, страшась потерять свои богатства. И даже дехкане, что добывали пищу трудом своих рук, боялись этих грабителей.

Тогда вышел «ярлык» всех ханов:

«Всякий, кто поймает трех разбойников, будет назначен великим визирем до конца жизни!»

Но никому не удавалось их поймать.

...Удивлялись и разбойники мудрости Акыл-аке, слышали его слова в народе, но сами никогда не видели Акыл-аке. Но более речей мудреца их привлекали его богатства. У кого бы разбойники ни спрашивали о его богатствах, все говорили:

— Не только казна одного хана, но сокровища и пяти ханов вряд ли сравняются с богатствами Акыл-аке!

И правда, казна и земли Акыл-аке были неисчислимы.

Однажды воры, дождавшись ночи, постучались к Акыл-аке. В это время весь аил уже спал.

Акыл-аке встал с постели, подошел к дверям и окликнул:

— Кто там?

— Откройте, Акыл-аке. Мы пришли к вам в гости послушать ваши золотые слова,— сказал один из воров.

Акыл-аке распахнул дверь и увидел трех людей с закутанными лицами. Мудрец не испугался:

— Проходите, почтенные гости. Проходите,—он начал стелить посреди комнаты кошмы и джуурканы, и не подал вида, что заметил железные кольчуги гостей и оружие, звенящее под их одеждой.— Что же, дорогие гости, усаживайтесь! — и он радушно указал на приготовленные места.

— Не твое дело заботиться о нашем покое, пусть не тревожат тебя наши удобства! — грозно молвил один из грабителей и толкнул мудреца.

Другой обнажил кинжал.

— Где твои деньги? Ты ведь узнал нас! Мы с юных лет добываем себе пропитание. Всюду, где мы появляемся, брызжет кровь, льются слезы. Теперь очередь дошла до тебя! — и он приставил кинжал к груди Акыл-аке.

Акыл-аке улыбнулся:

— Знаю. Еще не видел я вас, а слышал о ваших делах. Вы непобедимые богатыри! Слава одного хана затмевает славу другого, ваша же слава распространилась по всей земле. Ваши сердца родились из пламени. Но вам нужна не кровь моя, а мое богатство. Так ведь? А мне богатство не нужно. С моим богатством не сравняются сокровища пяти ханов. Мое богатство насытит вас полностью. Когда вам нужны будут сокровища, всегда приходи-

те ко мне. Я в силах давать вам каждый раз больше, чем найдется добра в казне любого хана.

Один из грабителей запер дверь на крючок.

— Ну, а теперь сиди смирно, как подобает жертве! — приказал он. Сбивая замки, разбойник начал высыпать деньги. Кроме сундуков, они ничего не трогали.

— Ой, детки мои! Хватит ли вам денег, или еще нужно? Если не хватит, говорите, — сказал Акыл-аке, все так же улыбаясь.

— А разве есть еще? — удивились разбойники.

— Есть,— сказал Акыл-аке.— Вон в том очаге денег больше, чем вы взяли. Берите, пока не насытитесь.

И, действительно, как и сказал Акыл-аке, денег в очаге оказалось куда больше. Один из грабителей было растерялся перед таким богатством.

— Как же мы это все унесем? — размышлял он, глядя на товарищей.

Акыл-аке как бы испуганно молвил:

— О сыны мои! У меня есть пять мулов. Хотите, погрузите деньги на них. Это ведь не ахти как много. Как бы вам еще не понадобилось денег! Говорите правду, детки... Вы же люди, гоняющиеся за богатством.

— Неужели еще осталось? — изумился один из грабителей.

— Не изумляйся, сынок! Внутри вот этой горы в пять раз больше сокровищ, чем взяли вы сейчас. Берите, детки. Мне богатство не нужно. У меня всего-навсего одна голова. Нельзя жалеть богатства для его настоящего хозяина. Не возьму же я все это с собой в могилу. Владельцы богатства — вы, а мое сокровище — мой язык. Берите! — сказал он.

Разбойники были поражены равнодушием Акыл-аке к своим богатствам.

— Дожил я до таких лет, а такого странного человека не видел. Если не послушаем его рассказов — после раскаемся. Как вы думаете? — спросил один.

— Верно! Давайте послушаем,—поддержал его другой.

— Ну, пожалуй, расскажи нам что-нибудь! — молвили грабители, усаживаясь.

— Ладно, детки. Послушайте мои слова, но раньше примите угощенье из моих рук.— И Акыл-аке начал готовить плов.

— Только не выходи за дверь,— приказал один из воров.

— Нет, мне там ничего не нужно. Дрова, вода, масло, рис, морковь — все это у меня здесь. Плов не помешает моим словам.— Ловко, с дробным пристукиванием он начал крошить морковь и заговорил:

— Давным-давно это было. Жил на земле человек, который никак не мог разбогатеть. Начиная с ранних лет до самой старости, когда его спина искривилась, как ребро, собирал человек топливо и жил тем, что продавал его. Он и его старуха никогда не оставались ни раздетыми, ни голодными. Хоть жил бедняк в землянке и постелью ему служила солома, он никогда ни у кого ничего не просил. Одно огорчало стариков — у них не было детей.

— Если б мы хоть раз услышали крик новорожденного, то умерли бы без сожаления,— говорили они между собой.

Однажды старик опоясался веревкой, заткнул за пояс кетмень для выкапывания корней и пошел собирать дрова. По дороге ему встретился сын именитого бая. Сорок приближенных джигитов сопровождали сына бая, готовые в любую минуту служить ему. Они не поздоровались со стариком. Их глаза заплыли жиром, мясистые груди были чванливо выпячены. Но старик крикнул вслед:

— О байбача, подожди-ка!

— Что тебе нужно? — спросил байбача.

— Сын мой, стан твой уже постарел! Ты же не знаешь никакого ремесла, умеешь только веселиться. Ведь богатство тоже имеет конец. Пока глаза твоего отца не сомкнула вечность, научись чему-нибудь, сынок. Вот что хотел я сказать тебе.

Сын бая громко расхохотался:

— Эй, старый сухарь, живи сам своим уменьем. Когда сомкнутся глаза моего отца — мне достанется его неисчислимое богатство. А с богатством не испытаешь несчастья. Работай себе и не мели всякую чушь, что приходит тебе в голову.

— Хорошо, сынок, хорошо. Ведь каждый обучается ремеслу для себя самого,— сказал старик и пошел своей дорогой.

Через год умер отец байбачи.

В один из дней старик опять встретился с байбачи.

— Сынок, отец твой покинул этот мир. Пока у тебя есть средства, научись ремеслу. Счастье человека в его уменье.

Байбача сильно разгневался.

— Эх ты, старик! Разве я просил у тебя счастья? Если мое богатство иссякнет, то у моего отца есть шестьдесят друзей да и у меня самого целых сорок. Разве они покинут меня в беде? Не показывайся больше мне на глаза.

Прошли друг за другом три долгих года; старик опять повстречался с байбачи:

— Сын мой! Уже виднеется дно в сокровищнице твоего отца. Раз никакое ремесло тебя не привлекает, то научись хотя бы торговать. Если ты не научишься ничему, то тебя ждет несчастье. Твои друзья — не истинные друзья, это друзья твоего богатства.

— Отчего же твой ум, который ты упорно навязываешь мне, не сделал счастливым тебя самого? Что же ты сам не сумел разбогатеть, пока твоя борода не стала белой, как снег? Если ты еще вступишь со мной в разговор — я отправлю тебя к праотцам. Отныне, когда увидишь меня вдали, поворачивай в другую сторону.

— Что ж, прощай, сынок. Коли истинно то, что ты родился на свет, истинно и то, что с таким нравом ты непременно очутишься в беде! — И старик ушел.

Акыл-аке, помолчав, добавил:

— Больше он не думал о байбачи и не ходил в сторону его аила. Жизнь его текла своим чередом.

— Э-э, а потом что было?—спросил один из грабителей.

— Сейчас, сынок! Сейчас все расскажу. Узел только завязывается,— и, бросив в кипящее масло мелко нарезанную морковь, он помешал в казане своей шумовкой.

— В некий день старик, идя за дровами, увидел на краю дороги черную, дырявую юрту.

«Видно, этот несчастный даже беднее меня. Откуда он?» — подумал старик и прошел мимо.

Сидящий у юрты, высокий, как кол, джигит проводил старика пристальным взглядом. Старик, ничего не подозревая, шел неторопливым, размеренным шагом, которым ходил много лет. Но тут джигит быстро вскочил с места и догнал старика.

— Проиицатель, великий старец, подожди! — умоляюще попросил он, подбегая.

Старик обернулся, тряся белой бородой, что спускалась до пояса.

— Э-э, сынок! Я не ошибся? Вы, кажется, тот самый байбача, с которым я разговаривал?

Джигит нагнулся, обнял колени старика и горько расплакался:

— Святой старец, ты угадал, я тот глупец, что осмелился подумать поднять на тебя руку.

— Твою вину простит тот, кто тебя создал. Я не святой, я всего-навсего человек, с малых лет борющийся за жизнь. Что хочешь от меня? Говори!

Старик и не думал мстить байбачи за былое оскорбление.

— Отец! — сказал джигит, плача.— Шестьдесят друзей отца, сорок моих собственных, которых я приобрел, раздавая им деньги, покинули меня, когда иссякло богатство. Я прожил весь домашний скарб, чтобы питаться. Друзья же мои сказали: «Сейчас у нас ничего нет». Они дали мне еды на день — на два и исчезли. Мы вытащили из джуурканов всю вату, мать и жена выстегали из нее пояса-ичкир и все это тоже продали. Вот уже два дня как мы сидим совсем голодные. Спаси нас от смерти. Научи меня чему-нибудь. Я стану твоим вечным рабом! — так умолял джигит.

Старик повел джигита в свою землянку, дал веревку и лопатку.

— Пойдем, сынок! Руки человека на все способны. Продадим дров — купим еды.

Джигит расплакался вновь, но уже от радости. Хотя он и шел за стариком, но, непривычный к работе, ничего не сумел сделать. Старик, не говоря ни слова, собрал дрова и разделил надвое.

— Теперь, сынок, поднимай свою часть.— И пошел по дороге.

Джигит немного понес свою вязанку и сел, обессиленный.

— Ничего, сынок, ничего, привыкнешь еще,— и старик начал перетаскивать то одну, то другую вязанку. Так дошли они до лавки навайчи. Навайчи в обмен на дрова дал им десять круглых лепешек.

— Вот, сынок, цена твоих дров пять лепешек, и моих— пять лепешек,— поделил старик.

Джигит обрадовался так, будто ему вернули все богатство. Так в его дом снова проник отсвет прежней жизни. Мало-помалу джигит начал привыкать к работе. Но старик все-таки продолжал щадить его силы. Он оставлял джигиту густые заросли валежника, сам же собирал дрова на горных кручах, куда приходилось подниматься ползком.

Однажды старик, собирая хворост по склону горы, поскользнулся и упал в яму.

На дне ямы он обнаружил два высоких сосуда. Подняв их, старик увидел, что они доверху полны золотом. Он вскрикнул от радости. Джигит услышал радостный возглас старика и спросил:

— Что случилось, отец?

— Сынок мой, золото! Золото! Иди сюда, я нашел золото,— крикнул он. Джигит быстро подбежал и увидел сосуды.

— Атаке! С таким богатством можно купить целое ханство! Потерянное мной состояние не было равно даже четвертой части этих сокровищ. Теперь ты будешь счастлив,— сказал он.

— Э, сынок! Разве счастье в золоте? Золото очень обманчиво! На него нельзя надеяться. Но, если пользоваться им разумно, этого золота хватит и сыновьям наших сыновей. Ну-ка, сынок, выбирай себе любой из сосудов. Это наша добыча, поделим ее поровну,— молвил старик.

— Выбирай ты! Что останется, то возьму я, ведь все это золото твое! — воскликнул джигит.

— Нет, сынок. Мой век уже недолог. Мне хватит четверти того, что заключено в одном из этих сосудов. Выбирай, сынок,— повторил снова старик.

Джигит с трудом вытащил из ямы сосуды и, выбрав тот, который казался больше, решил:—Я возьму вот этот.

— Ну, тогда иди, сынок,— сказал старик простодушно.

Джигит осторожно спустился по склону горы, катя сосуд по песку. Лучи солнца палили его, он вспотел и устал.

Присев, чтобы немного отдохнуть, он рассыпал монеты и начал ими любоваться. И тут-то в его голову заползла черная мысль: он решил убить старика и все золото взять себе. А старик и не подозревал этого.

Промолвив это, Акыл-аке насыпал в казан рис и не спеша уменьшил огонь.

— Э-э, а потом что было? — нетерпеливо заглянул один из разбойников в лицо Акыл-аке.

— Сейчас, сынок, сейчас! Пламя еще только разгорается.— Акыл-аке продолжал свой рассказ:

— Старик сидел, поджидая джигита. Джигит вернулся и, подойдя, сказал:

— Атаке, передохни немного. Золото, оказывается, нелегкий груз.—И он начал катать сосуд туда и сюда, собираясь привести в исполнение свой черный замысел.

— Э-э, сынок,—сказал старик, улыбаясь,—чем больше на свете золота, тем больше от него несчастья. Эти монеты после нас пройдут через руки многих. Пока золото не потеряет своей цены, в этом мире не будет справедливости. На чьи только головы не навлекло гибели это золото и многих еще погубит,— молвил он и погрузился в глубокое раздумье.

Джигит быстро вскочил с места и полоснул ножом по шее старика, который сидел, опустив голову. Старик затрепыхался, как подстреленный заяц, и упал на мягкий песок.

Джигит, схватив старика за белую бороду, уперся коленом ему в грудь и хотел совсем прикончить.

— Сынок,— сказал старик, дрожа,— подожди немного. Я уже не встану. Золото твое. У меня нет ни волосинки права на него. Я не виню тебя, я виню золото. Сейчас не ты действуешь, а золото. Если б ты не убивал меня, я сам бы умер вскоре.

Джигит безмолвно слушал старика.

— У меня к тебе одна только просьба. Если ты исполнишь её, я буду доволен тобой. Я дожил до преклонных лет, но еще не имел ребенка. Всю жизнь страстно желал увидеть хоть одного. Сейчас в утробе моей старухи есть шестимесячное дитя. Если оно благополучно родится на свет, дай ты ему имя. Если будет девочка, назови её как знаешь, если же будет мальчик, то назови его Даат. Другой просьбы у меня к тебе нет. Исполни моё желание, и у меня не будет и тени обиды на тебя. Все я прощаю заранее. Золото теперь только твоё,— сказал старик и погрузился в вечный сон.

Джигит закопал тело старика и забрал себе все золото. Налетевший ветер засыпал песком могилу и понес весть о гибели старика из края в край.

Акыл-аке приостановил свой рассказ, насыпал в чайник с длинным носиком кок-чая, поставил его на маленький огонь и, протерев звонкие пиалы, составил их в сторонке.

— Видно, джигита накажет кудай... Он за добро отплатил злом. Интересно, что будет дальше? — молвил один из грабителей.

— Э-э, сын мой! Вся суть в этом. Кого не портит золото! — молвил Акыл-аке громко, будто упрекая кого-то.

Увлеченные рассказом грабители не заметили того, как произнес последние слова старик. Акыл-аке продолжал:

— Байбача стал крупным баем. Каждое утро в одни городские ворота он отправлял караван из шестидесяти тяжело груженных верблюдов, каждый вечер в другие городские ворота прибывал к нему такой же караван. В два месяца он разбогател непомерно.

Когда настал срок, жена старика родила сына. Байбача, желая облегчить преступление, взял с собой пять хлебов, миску плова и пошел к старухе.

— Матушка, я не забыл добра, которое мне сделал ваш старик. Все время он твердил мне одно: «Если моя старуха родит мальчика, то назови его Даат. Нить моей жизни не протянется до его рождения». Я пришел, чтобы исполнить его завещание. Пусть имя вашего сына будет Даат.

Старуха осталась очень благодарна и без счета возносила байбачи похвалы и благословения.

Пролетели три года. У старухи не было иной отрады, кроме сына. Она добывала пищу, собирая дрова, в вечных заботах проходили её дни. Одежда старухи износилась, с трехлетним Даатом на руках ходила она просить подаяние.

Прежний хан этого края очень угнетал народ. Некий батыр выступил против хана, сверг его с престола, и, объявив себя ханом, правил уже несколько лет. Этот хан с первого дня правления приобрел имя Адыл—Справедливый. Он издал приказ: «Пусть не будет в моем ханстве горя и печали, пусть не будет жалующихся и стонущих».

В один из дней хан с джигитами объезжал свои владения. Оглашая воздух звуками керней-сурнаев, гурьба конных двигалась по городу. В это время старуха с Даатом остановилась в лачуге, мимо которой проезжал хан. Ста-

руха в рваной одежде не могла выйти на улицу и, подходя к порогу, громко позвала сына:

— Даат. Ой, айланайын Даат!

Хан услышал крик о дaате и спросил:

— Кто это взывает к моей справедливости? В моем роду «Эне» не должно быть жалующихся людей. Скорей узнайте, в чем дело! — И он послал одного из визирей. Визирь подскакал к лачуге и крикнул:

— Эй, старуха. На что жалуешься?

Старуха, не выходя из лачуги, оперлась о косяк и молвила:

— Нет, сынок! Я не взываю к вам о помощи. Даат — это имя моего сына. Он убежал на улицу вместе с другими шалунами. Я не могу выйти из дома и потому зову его.

Визирь, не расспрашивая больше, отправился назад. Старуха же, боясь потерять в толпе единственного сына, продолжала взывать:

— Даат! Ой, Даат,— кричала она.— С этими словами Акыл-аке подошел к косяку двери.

Грабителей забавляло искусство, с которым Акыл-аке подражал старухе, они просили:

— Здорово, ну-ка еще раз! Ну, как кричала старуха?— смеялись они.

Акыл-аке продолжал:

— Хан не удовлетворился ответом первого визиря и послал другого. А старуха в отчаянии, будто на самом деле потеряла сына, продолжала кричать:

— Ой, айланайын Даат! Ой, Даат! Слышишь ли ты меня? Даат!

От крика Акыл-аке проснулся один из его учеников и разбудил других. Все они услышали призыв учителя.

Тогда ученики тихо подкрались к дверям Акыл-аке и, поняв его хитрый маневр, стали ждать знака, чтобы броситься на помощь. Акыл-аке почувствовал это, но продолжал нанизывать бисер слов:

— Когда подошел второй визирь, старуха ответила ему так же. Хан не поверил и ему, послал главного из своих визирей. Старуха опять повторила то же. Хан и ему не поверил. Он вернулся во дворец и приказал:

— Приведите мне старуху!

Оборванная нищенка с Даатом на руках предстала перед ханом.

— Ну, старуха, какая у тебя жалоба? Почему ты кричишь «даат»? — спросил хан.

Старуха опять слово в слово повторила прежнее.

— Почему ты назвала сына «Даат»? Кто дал ему это имя? — спросил хан улыбаясь.

Старуха ответила, что так завещал ее муж.

— Кем был твой старик? — спросил хан.

Старуха поведала хану о своем муже.

— Когда и от чего умер старик? — продолжал допытываться хан.

— Прошло уже три года с тех пор, как исчез мой старик. Как он умер — не знаю! — ответила старуха.

— Жив ли тот человек, который дал имя твоему сыну? Кто он такой?

Старуха рассказала, что этот джигит сначала был богачом, потом разорился и просил помощи у старика, но потом снова разбогател и теперь первый богач в ханстве.

Хан призвал визиря и повелел ему:

— Дай этой старухе сто червонцев и призови сюда байбачи, который дал мальчику имя.

Немного времени спустя байбача предстал перед ханом, поклонился ему:

— Я пришел по твоему приказанию, повелитель.

Хан не ответил ему и спросил в упор:

— Ну, байбача! Зачем ты убил отца Даата?

Байбача сильно смутился:

— Таксыр, я не знаю, отчего он умер. Зачем бы я стал убивать нищего старика? Разве есть свидетели моего убийства? Если есть, то покажите мне их.

— Кто назвал мальчика Даатом? — спросил хан.

— Таксыр! Это я дал ему такое имя. Я исполнил только желание его отца,— ответил байбача.

— Если свидетель докажет твою вину, согласен ли ты, чтобы тебе отрубили голову? — спросил хан.

Байбача был вполне уверен, что свидетелей нет: ведь тогда в том пустынном месте не было не только людей — даже птица не пролетала.

— Если свидетель докажет мою вину — рубите мне голову,— согласился байбача.

Хан расхохотался.

— Ты дал имя «Даат» по желанию старика? — спросил он еще раз.

— Да. Я назвал так сына по желанию его отца. Я не знал, повелитель, что тебе это не понравится.

Хан встал с места и хлопнул в ладоши. Вошли его визири и стали вокруг.

— Байбача, ты глупец,— молвил хан, смеясь.— Тому, что ты убил старика, есть три свидетеля: один из них — Даат, другой—я, третий—ты сам!

И визири и байбача ничего не поняли.

— Я сейчас вам все объясню. Старик погиб вот каким образом...— начал хан.

— Каким же образом он погиб, таксыр?—чуть насмешливо спросил байбача.

— Слушай,— произнес хан.— Старик был большим мудрецом. Все его существо переполняла мудрость. Когда ты убивал его, он готовил гибель тебе заранее, мстя за свое убийство. Ты же, глупый байбача, не понял того. Мудрый старик ждал справедливой защиты от мудрецов: «Если я назову сына Даат, найдется справедливый человек, который откроет загадку странного имени»,— думал он. Хоть он и умер, но сделал так, чтобы ты не спасся. Вот теперь-то ты и попался. Ты сам стал свидетелем против себя. Ты поднял свой нож против мудрости, но мудрость раскрыла истину, пользуясь твоей глупостью,— сказал хан.

Один из разбойников, слушавший с разинутым ртом, воскликнул:

— Вот спасибо старику за его мудрость! Но что же дальше?

Акыл-аке громко рассмеялся:

— Ну-ка, визири! Хватайте его! — с этими словами хан вскочил с трона.— И Акыл-аке сильно потряс шумовкой.

Ученики Акыл-аке, только и ждавшие этих слов, дружно дернули дверь и сорвали крючок. Они ворвались в комнату и, связав беспечно сидевших разбойников, поволокли их на ханский суд.

Хан наутро собрал весь народ и велел повесить грабителей. Когда их вели на виселицу, один из них закричал:

— Таксыр, у нас к тебе просьба!

— Говори,— повелел хан и повернулся к Акыл-аке, который сидел рядом.

Разбойник, умоляюще глядя на хана, сказал:

— Твоя кара справедлива, таксыр: нет на свете того зла, которого бы мы не совершили. Но нам одного жаль: вчера Акыл-аке начал нам рассказывать историю. Чем же она кончилась? Вот что хотелось бы нам услышать перед смертью!

Акыл-аке улыбнулся:

— Её конец именно такой! Она... она кончилась вашей смертью. Этот рассказ я придумáл нарочно, чтобы поймать вас, и вся эта придуманная повесть — засохший листок моего ума,— закончил мудрец.

ОТВЕТ МУДРЕЦА

(Быль)

Болезнь хана тянулась больше года, и ни один табиб не нашел лекарства против болезни.

Тогда хан призвал самого мудрого своего визиря и приказал ему собрать со всего края самых мудрых, самых умных, самых искусных табибов.

Всюду, куда долетала весть, всюду, куда достигала нога, дошел приказ хана. Собрал визирь всех мудрецов к хану, и вопросил их хан:

— Есть ли средство излечить мою болезнь?

Мудрейшие и умнейшие ответили все в один голос:

— Нет! Против твоей болезни нет никакого снадобья.

Разгневался хан, выбрал из них сорок одного человека и вновь вопросил:

— Чем кончится моя болезнь?

Никто не решился дать на это ответ.

— Если вы не ответите на мой вопрос, если вы не найдете целительного лекарства, я вас всех обезглавлю,— грозно молвил им хан.

Мудрецы попросили хана дать им трехдневный срок, чтобы подумать, рассудить и посоветоваться. Хан приказал запереть их всех в сарай и приставил к ним стражу.

Один из умнейших мудрецов спросил собравшихся:

— Ну, мудрецы, чем же кончится болезнь нашего хана, какое лекарство его исцелит?

Никто ни слова не промолвил. Только некоторое время спустя просто одетый смуглый джигит нарушил тягостное молчание:

— Концом болезни хана будет смерть. Никакого лекарства против нее нет.

И все в один голос повторили его слова:

— Концом болезни хана будет смерть. Никакого лекарства против нее нет.

— Этот ответ нас не спасет. Таким ответом мы только ускорим нашу гибель. Нужно найти ответ поумнее и попробовать спасти наши головы! — молвил один.

Но сколько они ни думали, ничего умного не приходило им в голову. Трехдневный срок истекал.

— Ну вот, близок уже наш конец. От руки свирепого хана без всякой вины придется нам расстаться с жизнью.

— Пусть хоть теперь, перед смертью, каждый из нас скажет: какое неисполненное желание мучит его больше всего, какая у него самая заветная мечта? — предложил другой.

— Мой ребенок только что начинает говорить. Я еще не успел насладиться его лепетом. Если б я смог лишь один день и одну ночь послушать его, то умер бы без сожаленья.

— Я только что взял в жены юную девушку. Даже месяца не смог я побыть в ее жарких объятиях, ласковые же ее слова обещают вечное наслаждение. Пламя ее ласки подобно неугасимому солнцу! Будет ли она бесконечным источником блаженства или нет?.. Вот что хотелось бы мне узнать,—высказал другой свое заветное желание.

— Я видел на свете самых различных людей. Все они или хорошие, или дурные. Но каким бы глупым ни был человек, он всегда найдет недостаток даже у мудреца, ум которого светит, как месяц. Каким бы глупцом и безумцем ни прослыл человек, когда-нибудь в нем отыщутся черты ума и добра. Я страстно хотел бы увидеть совершенного человека без единого недостатка, или же полное воплощение порока без всяких добродетелей. Есть ли на свете такие люди? — спросил третий.

— Я хотел бы видеть, где у человека помещается душа. Можно это узнать или нет? — спросил четвертый и умолк.

Тогда поднял голову пятый:

— Я всегда пытался узнать, что быстрее всего в этом мире. Не хотелось бы мне умереть, не постигнув этого.

Шестой погладил свое круглое брюхо и сказал:

— Я первый богач на свете, но глаза мои не насытились созерцанием богатства. Любопытно мне было бы узнать—есть ли такие сокровища на свете, любование которыми утолит мою жажду богатства?

Седьмой громко вздохнул и сказал:

— Я исстрадался от вечных дум. Заботы и раздумья вгонят меня в могилу. В этом мире я ни разу не встретил беспечного человека. Моя заветная мечта — увидеть воплощение полной беспечности, тогда я смог бы умереть спокойно.

Просто одетый смуглый джигит, задумчиво слушавший заветные желания мудрецов, внезапно вмешался:

— Подождите-ка: пока сорок один человек успеет высказать свои желания, наши шеи уже будут в петле. Поэтому давайте-ка лучше я отвечу этим семерым. А потом посмотрим, как быть и с остальными.

— Правильно,— согласился первый.

— Если и в самом деле ничего не остается, то хоть услышать ответ на первые семь вопросов. Ну-ка начинай ты, советчик! Хоть глядя на тебя и не скажешь, что ты самый умный из нас, да уж ладно. Пусть перед смертью и твоя душа не огорчится,— молвил шестой.

— Ум не смотрит на богатство, не тянется к силе. Но ум спасает от гибели. Времени у нас осталось мало, начну-ка я отвечать.—И он по порядку, один за другим, выложил свои ответы:

— Первый хотел насладиться лепетом своего ребенка в один день и в одну ночь. Разве за это время твой слух насытится лепетаньем ребенка? Ведь тебя еще больше потянет к нему, ты захочешь слушать его бесконечно. Человек никогда не перестанет радоваться, глядя на свое дитя.

— Второму хотелось знать — исчезнет ли жар ласк его любимой или он неиссякаем? Это нетрудно узнать: на свете нет ничего горячее солнца, но и оно иногда обжигает, иногда же едва согревает. Человек подобен ему. Остальное додумай сам.

— Третий добивался увидеть совершенного человека. Такой человек просто так не родится, а если родится, то умирает в младенческом возрасте. Если же случайно он не умрет, то на него воззрится весь мир. Кроме его имени,

ему дадут иное название, он станет владельцем слова «бессмертный».

— Четвертый хотел узнать, где у человека помещается душа. Это нетрудное дело. Если хочешь почувствовать — прищеми тело щипцами. Где почувствуешь боль, там и будет душа. Душа всегда находится там, где больнее всего.

— Пятый желал узнать, что в мире быстрее всего. И это нетрудно узнать. Быстрее человеческой мысли ничего нет на свете.

— Шестой допытывался: созерцание каких сокровищ насытит его алчность. Чтобы навсегда удовлетворить человека, нужно ровно столько земли, сколько покроет его самого. Кроме этого никакое богатство не успокоит алчного человека.

— И, наконец, седьмой хотел бы увидеть человека, являющегося полным воплощением беспечности. Такие люди бывают. Посмотри на безумного: у него нет ни заботы, ни мысли. Кроме него никто из людей не может оставить забот и дум. Чтобы не думать — надо сойти с ума.

Ответы смуглого джигита удовлетворили всех. Но попрежнему перед их глазами неотступно маячил призрак смерти...

— Ну, какой же ответ дадим мы сегодня хану? — спросил один из прибывших визирей.

Никто не промолвил ни слова, все сидели и молча переглядывались. А потом бросились обнимать друг друга, рыдая об уходящей жизни. Тогда встал просто одетый смуглый джигит и поклонился всем:

— Ответ готов, сообщите об этом хану.

Визири ушли. Все сорок мудрецов радостно окружили сорок первого:

— Неужели лекарство найдено? Неужели мы спасены? — воскликнули они.

— Жизнь мы сохраним, но лекарства нет.

— Тогда мы погибли.

— Нет. Я сделаю так, что он сам себе ответит. А вы сейчас не спрашивайте меня ни о чем. Услышите в присутствии хана.

Визири хана вернулись снова и повели сорок одного мудреца к хану. Хан, едва сев на свой престол, спросил:

— Ну, мудрые табибы, нашли вы ответ?

— Алдаяр, хан мой! — молвил просто одетый смуглый джигит.—Целебное средство есть. Но мы не знаем, где оно находится. Его можешь найти только ты сам.

— Говори,— разрешил хан.

— Я скажу только в том случае, если ты обещаешь, что сам будешь искать это средство и освободишь всех этих людей,— сказал джигит, подойдя к хану ближе.

— Расскажи о целебном снадобье, и я его сам найду, а вы будете освобождены,— обещал хан.

— Алдаяр, хан мой! Слово хана не двоится. Чем безоговорочней будет твой приказ, тем скорее найдется лекарство. Средство мое такое: найди в мире настоящего счастливца, его нижняя рубашка и будет нужным лекарством. Если ты на ночь наденешь на себя эту рубашку, то наутро подымешься здоровее кулана.

— А если я и тогда не поправлюсь, ответишь ли ты своей головой? — спросил хан.

— Тогда без разговоров—рубите наши головы, забирайте наше имущество и скот в казну,—ответил джигит.

Среди мудрецов против такого решения выступил только богач, испугавшийся за свое богатство больше, чем за свою жизнь. Он вскочил со своего места и выступил вперед:

— Алдаяр, хан мой! Совет этого человека. неправилен. Ложь его слова обнаружится сегодня же,— воскликнул он.

— Таксыр,— сказал просто одетый джигит,— этот человек, видно, не хочет твоего исцеления, поэтому забери его богатства в казну, а самого брось в зындан. Если счастливый человек не найдется, то первым виновником будет он, вторым же будет твой главный визирь. Если бай пожалеет свои богатства, а визирь пожалеет свои силы, то счастливый человек может и не найтись.

— Ладно,—сказал визирь,—если не найдется счастливый, то вина ляжет на нас. Но если рубашка счастливца не исцелит недуг повелителя, то вся вина ляжет на тебя одного. Счастливого человека я найду сегодня же,— прибавил он.

Тогда смуглый мудрец поклонился хану:

— Если рубашка счастливого не излечит твоего недуга, то обезглавь меня, забери в рабство моего единственного сына, сделай рабыней мою жену, труп мой брось

стервятникам, мою бедную юрту сожги, а пепел развей по ветру,— проговорил он.

Хан исполнил обе просьбы мудреца и послал своих визирей искать рубашку счастливца.

Визири обошли весь народ своего ханства, но счастливого найти не смогли.

Снарядив бесчисленные караваны верблюдов, хан разослал их во все города, ко всем царям. Но счастливого человека и там не нашлось.

Тогда они предстали перед богачом богачей и спросили:

— Счастлив ли ты?

— Нет, я не счастлив. Другие богачи хотят сравняться со мной в богатстве. Меня же мучит: как бы они не поднялись до меня, как бы их богатства не превзошли моего. Я весь полон забот.

Тогда визири пошли к хану ханов и спросили его:

— Счастлив ли ты?

— Нет, я не счастлив. Чтобы держать народ под своею властью, сколько нужно хитрости, сколько нужно сил! Боясь потерять власть, я целыми днями изобретаю разные уловки, и покоя у меня нет!

Наконец, визири пошли к самому богатому купцу и спросили:

— Счастлив ли ты?

— Нет! Как мне быть счастливым? Я весь полон забот о том, как бы увеличить мои богатства. Одну монету превращаю в две, сто—в тысячу, и так без отдыха изо дня в день, и мои глаза едва замечают, как уходит жизнь.

Главный визирь начинал терять надежду, отчаяние охватило его душу. Между тем проходили годы. Болезнь хана день ото дня усиливалась.

Визирь решил уже не спрашивать, а подслушивать и подглядывать. Он выслеживал всех, начиная от баев с бесчисленными сокровищами и кончая кедеями, которые утром не знали — смогут ли они поесть в полдень.

Он решил взять рубашку у любого, кто произнесет слова «как я счастлив». Но такого человека не удавалось найти.

Бродя повсюду, он заметил как-то, что из-за камней и скал струится дым. Визирь направился туда и стал наблюдать. Пред ним, на склоне горы, бегали оборванные дети, то появляясь, то снова исчезая в отверстии пещеры. С на-

ступлением вечера все стихло, и в тишине визирь услышал радостный голос:

— Мои дорогие ребятки, вы — мое счастье. Если вы здоровы, то счастлив и я. Разве есть кто-нибудь счастливее меня? Вы растете, ваше счастье в ваших руках.

Услышав это, визирь вбежал в пещеру и спросил говорившего:

— Ты действительно счастлив? Ты не откажешься от своих слов?

— Я в самом деле счастлив. Нет человека счастливее меня. Я долго ждал счастья, теперь же счастье со мной и еще ожидает меня! — ответил тот.

Визирь обрадовался и воскликнул:

— Если действительно так, то дай мне свою нижнюю рубашку.

Хозяин пещеры, ничего не говоря, начал расстегивать свою рваную шубу. Визирь сердито торопил:

— Скорее, скорее. Снимай свою рубашку. Она должна исцелить недуг хана.

Хозяин пещеры расхохотался:

— О, если так, то я счастлив вдвойне! У меня нет никакой рубашки. Смотри! — и он распахнул шубу.

Визирь упал, как подкошенный. Сколько ни обходил он потом городов и земель, так и не удалось ему найти рубашку счастливого человека. Тогда, вконец измученный, вернулся он на свою родину.

В один из дней тайком пробрался он к юрте мудреца и шепотом спросил его:

— Скажи наконец правду: есть ли сейчас на свете счастливый человек?

Мудрец, смеясь, ответил:

— Сейчас счастливого человека на свете нет, но он будет. И не один!

— Скажи мне, когда же появятся эти счастливые люди?

Мудрец расхохотался еще громче:

— Когда умрет хан, когда тебя заточат в зындан, когда рассыплются сокровища богачей, тогда и явятся новые счастливые люди. Вам не дано их видеть!

Так и не нашлось целебного средства для недуга хана
А счастливые люди родились много позже.

ДОРОЖНАЯ СКАЗКА

Большекрылые грифы слетались на падаль. Могучими клювами, твердыми, как стальное кайло, они долбили и рвали на куски мясо павшего верблюда. Если бы не длинная шея, изогнутая, как лук, и не огромные зубы, каждый величиною с большой палец руки, кто бы мог узнать в растерзанной падали огромного, как гора, верблюда? Стервятники таскали с холма на холм его ребра, отрывали от них мясо.

Вороны тоже слетелись на пир, но боялись грозных стервятников, пожиравших мясо, и только издали кричали:

— Карр!.. Карр!..

Трусливые вороны с нетерпением и завистью кружились, ожидая своей очереди.

Об этом нам рассказал словоохотливый спутник, когда мы по горной дороге поднимались к перевалу. Вдруг наш спутник замолчал, пригнулся к шее лошади и посмотрел вдаль.

— Видите,— показал он рукой,— вон там валяются кости. Это и есть останки того самого верблюда, о котором я говорил...

— Аксакал, продолжай свой рассказ,— ответил я, — твой язык источает мед...

Польщенный моим ответом, старик улыбнулся, вынул из-за пазухи чакчу, несколько раз ударил ею о ладонь левой руки и затем положил за губу жевательный табак— насвай. Медленно пожевав сухими губами, он погладил рукой седую бороду, сплюнул сквозь зубы и только после этого продолжал:

— Около скелета верблюда валялись клочки серой шерсти и рваные куски мягкой кожи. Мой товарищ сказал: «Наверно, это был молодой верблюжонок... Эх, бедняга! Кроме шерсти, ничего от него не осталось. А ведь он, верблюжонок, только начинал жить. Да хотя бы и пожил дольше, все равно не увидел бы счастья. Так же, как и его мать — верблюдица, он получил бы кольцо, продетое в ноздрю и в награду за труд—частые удары плетью». Так говорил мой товарищ, и я был с ним согласен. А как вы думаете, сыны мои? Вы говорите — у животных нет ума? Однако у них бывает очень нежное сердце. Верблюдица плакала над павшим верблюжонком, она проливала слезы, как человек. Ее тоскливые крики раздирали душу, колебали землю. Ее горький плач будет понятен только тому, кто потерял своего любимого ребенка.

Старик помолчал, видимо, о чем-то думая, и вдруг спросил:

— Вот, сыны мои... можно ли думать, что животные не испытывают горя?

Он посмотрел вверх, на перевал, и, горько усмехнувшись, продолжал:

— Этот перевал был кровавым перевалом, здесь погибали не только верблюдицы с верблюжатами. Костями животных и людей усеян перевал. А теперь, видите, лежит земля... Она ничего не чувствует. Земля покорилась человеку. Видите, какая пролегла дорога? Правильно я говорю, сыны мои?

— Продолжай, аксакал, золото источают твои уста,— сказал я,— в твоих словах одна правда.

Наш спутник, убедившись, что мы внимательно слушаем, начал говорить с еще большим жаром. Старик вспомнил давно минувшее, ту пору, когда он был молод и ездил по горной тропе на Сусамыр.

— Нас было трое, когда мы подъехали к перевалу,— продолжал он.

— Это пал верблюд Керима,— предположил я.

— Нет,— возразил мой товарищ,— у Керима верблюдица только что принесла верблюжонка.

Ехавший вместе с нами третий спутник, который все время молчал, заметил:

— Это, наверно, верблюд Айдаралы. Вчера я слышал, что он от свата получил верблюдицу. И Айдаралы вместе со своим аилом откочевал через горы.

— Правильно, это его,—согласился первый.— Бедный Айдаралы, он даже не успел забрать мяса. Пошел дождь, посыпал град, поднялась жестокая вьюга...

Рассказы в пути рождаются один за другим. Мы вспомнили о дочери Айдаралы. Один из товарищей сказал:

— Дочь Айдаралы была красива, как луна в полнолунье, нежна, как утренняя звезда! Она осталась в голодной степи пищей для стервятников.

Сказав это, мой товарищ глубоко вздохнул и замолк...

— Почему постигла ее такая участь? Может быть, ее мужем был негодный старик?

— Нет, муж ее не был стариком, но он был хуже ногтя дряхлого старика. Хотя он имел на плечах голову, но ума в ней было меньше, чем у кошки. Вернее сказать, он был глуп, как осел. Имя его Очер, но его называли Очер-дурак. Чего не сделает богатство! Очер был глуп, но богат. Лунная красавица попала в руки дураку. Когда он говорил, то хватался рукой за нос. Будто, создав его, бог сказал: «Не отрывай руки от своего носа». Когда все люди увлекались веселой скачкой кок-бору, наш Очер-дурак садился на вороного иноходца и скакал из аила в аил. Собаки с бешеным лаем бежали вслед за ним и с таким же лаем встречали его собаки соседнего аила. Очер, сам лая по-собачьи, скакал обратно. Вот какая у него была потеха. Или нападал на сына бедняка, едущего на бычке, и кричал: «Почему не едешь на иноходце?..» И преследовал его до тех пор, пока тот не падал на землю. Такие были у дурака Очера привычки. Стоило только детям услышать: «Болван Очер едет!» — как они все разбегались, словно цыплята от коршуна.

Я возмутился:

— Чем выдавать единственную дочь за дурака, почему Айдаралы не бросил дочку со связанными руками в воду? Лучше было бы ему пить кровь своего отца, нежели обрекать свое дитя на такое мученье.

— Айдаралы хотел разбогатеть, получить много скота,— ответил мне мой товарищ,— но от дурака-зятя он не получил богатого калыма. Кроме этого павшего вер-

блюда, он получил только две девятки скота. Прошло три месяца, как он выдал за Очера свою дочь. Она, говорят, выйдя замуж, заболела. С ней начались припадки. Кто знает, может быть, она заразилась от дурака? Бедная, бедная!.. Чем быть умной и жить с дураком, лучше сойти с ума. Аргамак далек от шакала, как небо от земли. Такая же разница была между женой и ее мужем-дураком.

Сказав это, старик остановился, бросил камень в бегущую с шумом реку и начал говорить о другом.

— Вот река нам кажется маленькой, но сколько силы она таит в себе. Я не встречал человека более коварного, чем эта река. Когда захочешь пить — вода дороже кумыса молодой кобылицы, но если заехал в реку и хочешь выбраться на берег — она, как волк, тянет назад. Поскользнулся — река потащит тебя, начнет бить о берег, о каждый камень. За шумом воды не услышишь своего голоса, и река набьёт тебе в рот песок, утопит в омуте. Но когда ты овладеешь её силой, река станет покорной рабыней и будет служить для твоего блага.

Сила реки не на поверхности, а внутри. А вот сила перевала вся снаружи, в его высоте. Ты прижимаешься к перевалу, как ребенок к матери, но коли сорвался — тебе гибель. Вот здесь — только копни землю, ты найдешь кости, ребра, черепа. Да вы и так это видите. Правду говорю?— спросил по привычке старик.

— Правда, всё правда, аксакал,—ответил я,—продолжай. Длинную дорогу ты делаешь короткой.

— Возвращаюсь к прерванному рассказу,— сказал старик.— Лошадь, на которой я раньше ездил, была скорой и проворной, как змея. Я тогда был молод, силен, как лев, ловок, словно сокол, я шел к перевалу своей жизни. В то время, если бы я потоптал снег еще пять лет, мне было бы сорок... Ну так вот, закончив свои дела в аиле, я ехал через перевал. Около полудня на пути я догнал человека по имени Казакбай. Мы продолжали путь вместе. В то время, вы знаете, не было таких ровных дорог, какие строим теперь. Мы большей частью шли пешком, ведя в поводу лошадей, прыгая с камня на камень. Это была настоящая дорога в ад: то камни, то сыпучий песок, то крутая гора, то бурная река преграждали нам путь. Когда мы подъехали к реке, Казакбай сказал:

— Бог создал эту воду ради шутки и ради мученья. Смотри, она кружится, как змея, которую ударили по голове, и ревет, как тигр. Прежде чем достигнем перевала, мы переедем через сорок семь поворотов этой реки.

Лошадь Казакбая споткнулась о камень и захромала. Увидев, что из ноги лошади потекла кровь, Казакбай соскочил на землю, разорвал свой кушак и перевязал раненую ногу.

— Ах, чертова пропасть!—выругался он.—Наша сила не одолеет воду и камни. Этот перевал многим испортил сердце. Его силу покорил только один Кожомкул. Он однажды перешел через перевал, неся кобылу на своей спине.

Сказав это, Казакбай снова сел на лошадь.

— Когда это было?— спросил я.

— Недавно, летом,— ответил Казакбай,— его кобыла не могла идти, и он связал ей все четыре ноги, как барашку, взвалил на спину и полез на перевал.

— Как жалею, что я не видел Кожомкула.

— О-о! Кожомкул — батыр, он был силен, как лев. В то время мы приблизились к броду,— продолжал рассказ старик.— Неподалеку от нас, выше по течению реки, стояло дерево. Его ветви опустились в воду. Возле дерева извивалось и трепетало на поверхности воды что-то белое и очень длинное. Я вспомнил о драконе, о котором слыхал много страшных сказок. Белое существо то ныряло, то взлетало над водой, то плыло и вертелось около ветвей дерева. Казакбай тоже оказался трусом. Увидев это, он со страхом посмотрел на меня:

— Что это такое?

Лицо его потемнело, как прокопчённая кожа.

— Может быть, это дракон,— ответил я.— Раньше говорили: «Дракон ляжет поперек реки, запрудит её, и там, где проползет, будет большой арык...»

Сказав это, я слез с лошади. Казакбай в испуге жался ко мне. У нас у обоих отнялся язык. Что скажешь, когда перед тобой такое чудовище? Мы долго стояли не двигаясь с места. Нам показалось: горы зашевелились и падают в бездну. Но то, что приняли мы за дракона, не приближалось к нам. Чего только не бывает в горах! Прошло много времени, а чудовище по-прежнему болталось на месте. Казакбай посмотрел на меня и сказал:

— Когда лошади почуют дракона, они храпят и шарахаются, как дикие. Но почему они стоят на месте?.. Устали и не чуют беды?.. Ну, будь что будет... поехали!

Казакбай первым начал спускаться к реке. Говоря по правде, от испуга сердце моё было готово выскочить из груди. Всё внутри у меня похолодело. Пока Казакбай спускался к воде, я умышленно задержался, поправляя седло и подпругу. А поправлять-то нечего. Всё в порядке.

Лошадь пятилась назад, боялась идти по узкой тропе. Казакбай ударил ее несколько раз плетью и вынудил двинуться вперед. Подъехав к дереву, он повернулся. Я услышал его хохот. Когда я переезжал через реку, Казакбай уже спрыгнул с коня и вытаскивал из воды что-то длинное и белое.

Когда я приблизился, он поднял над головой длинную и узкую белую ленту, конец которой был еще в воде. Это оказался не страшный удав и не дракон, а женский головной убор — элечек. Казакбай выжимал из белой материи воду.

— Чей бы это мог быть элечек?— удивился я.

— Нам все равно,— ответил Казакбай,— пусть это будет нашей находкой.

Затем мы продолжали свой путь. Когда переехали перевал Улар-Ашу и стали подниматься на Тее-Ашу, холодный и чистый ветерок донес до нашего слуха крики людей. Мы подняли головы и увидели на вершине четырех всадников. И вдруг один из них сорвался... Лошадь, кувыркаясь, покатилась вниз и разбилась насмерть, упав на острые выступы камней. Мы её настигли прежде, чем всадники успели спуститься с горы.

Казакбай, увидев лошадь, узнал её и сказал: «Это вороной иноходец того самого дурака Очера». И действительно, это был его иноходец. Не умеющий бить палкой— сам себя по голове бьет. Правильно я сказал, сыны мои?— вновь обратился к нам старик.

— Правильно говоришь,— ответил я,— высыпай все свои алмазы, мы охотно слушаем тебя.

Старик откашлялся и продолжал:

— Один из четырех всадников, как и надо было предполагать, оказался тот самый Очер-болван. Увидев своего вороного иноходца лежащим головой вниз, Очер ухмыльнулся и закричал:

— Эй вы, люди! Видели, как мой иноходец прыгнул с горы? Если бы он полетел сюда вместе со мной, что бы я стал делать? А как я теперь дойду до своего дома? Подлая свинья!.. Он захотел издохнуть раньше времени. Но почему не упал с поднятой головой? Кто ему позволил подвернуть под себя голову?

— Твой иноходец, видимо, не такой умный, как ты,— ответил Казакбай,—если бы ты падал с горы, то, наверное, поднял бы голову.

Очер расхохотался.

— Счастливого пути вам. Откуда вы?— спросил я всадников.

— Спасибо. Мы — гонцы. Разыскиваем жену нашего почтенного Очера-мирзы, — ответил один из всадников.

— Ой, бедная, бедная келин!— вздохнул Казакбай.— Чем обнимать дурака, она решила уснуть навсегда в белой пучине реки. Её элечек мы видели у переезда. Ищите её вниз по течению.

На мое сердце словно кто-то положил тяжелый кусок льда. Перед моими глазами рисовалось, как по бешеному течению реки плывет тело красавицы, косы ее, как черные змеи, бьются на охладевшей груди. Мы все молчали. А болван Очер расхохотался и говорит:

— Если бы она не умерла, так не сбежала бы от меня.

— Чем жить с тобой,— с негодованием сказал я,— лучше утонуть в реке. Зубы у тебя как у человека, но ум ослиный.

Дурак на это нисколько не обиделся и ответил:

— Правильно говоришь. Я ничего не знаю. Меня женил отец...

— Глупый додумается только после обеда,— добавил к моим словам один из спутников болвана Очера, и они покинули нас.

Смех дурака, похожий на лай собаки, и смерть молодицы до сих пор я не забыл. И разве можно это забыть? Правильно, молодцы?— заключил старик.

— Правильно,— ответили мы,— пусть течет мед из твоих уст, говори, аксакал. Дорога с тобой коротка и гладка.

— Я очень доволен,— продолжал старик,— что вам понятны мои слова. Мы с Казакбаем были ещё на пере-

вале. И в это время через него кочевал один богатый бай со своим стадом. Нам пришлось помогать батракам бая. Вам нелегко поверить этому. Теперь здесь широкая гладкая дорога. А что было тогда? Привязав одного верблюда на длинный аркан, мы, десять человек, тянули его наверх, а другие десять человек подталкивали верблюда сзади длинной палкой. К нам подъехал джигит на гнедой лошади. Спина у него была, как у беркута. Слезая с лошади, он сказал:

— Дайте мне палку.

Джигит крепко поставил одну ногу на лед и с необычайной силой толкнул верблюда. Все, кто держал аркан, попадали на землю. Верблюд перевалился через ледяную глыбу. Мы со смехом вставали с земли. А джигит, когда поднял ногу со льда, оторвал подошву своего сапога. Подошва осталась во льду. Он один оказался сильнее десяти человек.

Бай сидел на холме и, как стервятник, озирался вокруг. Оценив силу молодого джигита, бай сказал:

— Молодец, сынок! Кто ты такой?

— Я — Айдар, аксакал,— ответил ему джигит.

— Молодец, сынок! Давно я слышал, что есть в горах у нас один молодой силач, пока ещё мало известный людям. Так это, оказывается, ты. Не зря говорили про тебя.— Бай плюнул в сторону и спросил:—Сколько тебе лет?

Айдар ответил с улыбкой:

— Двадцать три, аксакал.

Бай посмотрел на его разорванный сапог, ничего не сказал больше и молча отвернулся.

Много протекло времени с тех пор. Теперь здесь нет кичливого бая. А через грозный перевал пролегла широкая дорога. Джигит Айдар дожил до сорока лет. И сила его не оставила, он стал ещё более мужественным и крепким. Мы видели его силу в молодости, когда боролись с перевалом, перетаскивая скот бая. Он первым из всех перешел через ледяные трущобы, на которые люди боялись даже смотреть. Камни величиною с корову он бросал, как легкие игрушки.

Когда Айдар служил баю, он ничего не имел. А теперь Айдар окружен почетом. Он первым пришел на постройку Сусамырской дороги. Его друзья-колхозники всё время, как пчелы, окружали Айдара. Его труд оцени-

ли хорошо. Имя Айдара вошло в историю, как имя Героя Труда.

Наш словоохотливый спутник восторженно посмотрел на горы и воскликнул:

— Смотрите, высокая вершина горы теперь в руках людей, как тесто! Смотрите, дорога поднимается на высокую гору по скалам. Она ведет в самое небо, она вокруг горы вьётся как хмель вокруг тополя. Этого мы не видели даже и во сне.

Мы ехали по той земле, которая некогда была усеяна костями животных и людей. А теперь тысячи людей, подобных Айдару, проложили эту дорогу.

— Вся сила в народе,— заключил старик.— Надо вечно благодарить того, кто поднял народ на борьбу с перевалом. Как вы думаете, сыны мои, неужели та молодица теперь захотела бы тонуть в реке, убегая от дурака Очера? Думаю, она нашла бы себе достойного мужа. Правильно, сыны мои?

— Правильно говорите, аксакал,— ответили мы на это.— Народ — могучая волна, неиссякаемый родник. Всякую преграду одолеет народ.

Человек сам создает и сам дивится своему творению.

КОГО НЕ ПУГАЕТ СМЕРТЬ!..

(Новелла)

Имя Чолпон казалось придуманным только для неё: она, действительно, сияла своей красотой, как звезда Чолпон — Венера.

Девушкой она волновала сердца многих. Молодые удальцы, опьяненные одним её видом, погружались в глубокие воды мечтаний.

Чолпон не очень сердилась на длинные письма, которые слали ей разгоряченные джигиты, и шутливо отвечала на их излияния:

«Уважаемый сверстник! Не позор то, что вы написали письмо, но больше не утруждайте себя, не берите в руки перо».

Одних ответ девушки стыдил, а у других ещё острей разжигал мечты.

Были такие джигиты, что заботливо украшали письма лирическими строками из песен прославленных поэтов, а иные пытались сами заговорить стихами.

Чолпон всем сердцем откликалась на подлинную поэзию, но... не всякая любовь горит поэтическим пламенем.

Чолпон тебя зовут, и вправду ты звезда.
Чолпон, неужто ты меня отвергнешь?
Чолпон, отказ твой — смерть моя.
Звездою ты тогда не будешь...
Чолпон зовешься ты —«Звезда рассвета».

Чолпон—звезда, а ты сама—луна.
Коль ты — звезда, мольбу акына
Не отвергнешь, моя Чолпон...

Пыхтя и потея, «акын» писал неуклюжие стихи, воображая, что они полны поэзии и страсти.

Немало приходилось Чолпон читать таких трескучих стихов. Однажды, прочитав неуклюжие строки, она неудержимо расхохоталась и показала их своей старшей сестре.

Та поддразнивала сестренку:

— Твои джигиты-поэты вот-вот растают, горюя о тебе.

Подруги наперебой советовали Чолпон:

— Подожди-ка отвечать отказом. От их признаний с тобой ничего не случится. Садись, пиши такой ответ: «Дорогой акын, ваша песня растопила меня, как масло, упавшее в огонь». Любопытно, что ответит тебе влюбленный акын...

Так потешались девушки над печальными вздыхателями.

... Время шло своим чередом. И Чолпон соединила свою жизнь с джигитом по имени Сабыр. Это был привлекательный юноша, с открытым, смелым лицом. Он был умен, его приятный нрав украшался толковой, остроумной речью.

Вряд ли можно было найти более подходящую пару, чем Сабыр и Чолпон. Про них говорили:

— Сабыр выбрал себе подругу среди самых нежных роз цветника.

Другие прибавляли:

— Чолпон нашла себе друга в глубинах мудрости.

Шли дни. Два раза сбегали с гор бурлящие потоки. Два раза соловьихи выводили своих сереньких птенцов, а соловьи, клонясь с ветвей роз над гнездами, пели малюткам чудесные песни, а позже учили подросших птенчиков летать, перепархивая среди кустов сирени.

Природа улыбалась, и счастье поселилось в доме Сабыра.

Однажды он вернулся с работы хмурый и сказал:

— Бывают же на свете гнусности!..

Чолпон вытерла клеенку, поставила еду на стол, придвинула к мужу тарелку и, ласково ероша его волосы, спросила:

— Что с тобой? Отчего ты расстроился?

Сабыр принялся за еду:

— Сейчас расскажу. Ребенок родителю — дороже жизни. С чем сравнить радость иметь детей! Дети — источник жизни, они хозяева будущего.

И, немного помолчав, продолжал:

— Ты ведь знаешь, что младший сынишка Карпыка болел. Так он сегодня умер.

— Что ты! — воскликнула побледневшая Чолпон.

Сабыр продолжал рассказывать:

— Не пугайся, слушай, как все же сильна жизнь даже в этих крошках! Когда я пришел к ним, ребенок лежал, весь посинев, его дыхание было едва уловимо, глазки глубоко запали и жалко-трогательно моргали ресницы. Маленькое тельце металось в постели.— Сабыр сказал глуше: — Страданья его и сейчас перед моими глазами! Хоть бы провалились сквозь землю муки бессловесных детей. Бедные, они бьются в страданиях без языка, но все их существо молит о помощи, о спасении; они не хотят умереть, не хотят расстаться с отцом и матерью, которых едва только узнали...

Чолпон слушала, вся побелев.

— В течение часа ребенок трижды почти умирал, трижды оживал и все время хватался за мать своими исхудалыми ручонками, прижимался головкой к ее груди. Кто это видел, сердце того наполнялось жалостью. «Хотя бы он скорей скончался, меньше мучился»,— так говорили глаза наблюдавших и страдавших вместе с этим малюткой.

— А мать? — еле прошептала Чолпон.

— Что могла поделать несчастная мать! Чем она могла облегчить страдания ребенка? Со слезами на глазах, прерывающимся голосом она обращалась к сыну.

«Родненький мой, не мучайся. Как у нас заведено от стариков, я простила свое молоко—только не мучайся, я простила... Простила». По ее дрожащему лицу беспрестанно текли слезы, и она забывала вытирать их.

Бедный малютка! Он как будто ждал этих слов матери, вытянулся и умер.

Карпык оказался настоящим мужчиной. Он поцеловал сына в холодеющий лобик и сказал:

— Что произошло, того не воротишь. Не плачь,— утешал он жену...

Вдвоем с Карпыком мы отправились к гробовщику и принесли гробик, но он оказался мал для ребенка. Пошли мы обратно.— Сабыр грустно усмехнулся.— Моя шутливость редко меня покидает. Я сказал:

«Ребенок ожил. Вместо похорон я решил устроить праздник, дайте-ка деньги обратно, и вы тоже приходите на пир».

Гробовщик поморщился:

«Ладно. Только девять рублей я удержу».

Он посмотрел на меня испытующе.

«Нет уж, отдайте все сполна,— сказал я ему.— Или вы не рады выздоровлению ребенка?»

«Если так со всеми будет,—произнес гробовщик отрывисто,—кто же станет покупать мои изделия? Я не возьму гроба обратно, еще понадобится, сохраните у себя».

Его угрюмые слова оледенили мое сердце, я сказал:

«Не пугайтесь. Пока у нас, к сожалению, не хватает сил воскрешать мертвых. Я пошутил, мастер, дайте только мне гроб побольше».

Гробовщика мои слова ничуть не уязвили и не пристыдили.

«Сейчас я занят. Строгаю гроб для именитого человека, берите вон тот необбитый гробик».

Напевая песню, он принялся ловко вколачивать гвозди в гроб.

То, что он сидел меж гробами, нисколько не влияло на его настроение. И он даже начал хвастать, и все самодовольней разливалась веселая улыбка на его лице:

«Никто не сравнится со мной в мастерстве изготовлять гробы. Я был в Ташкенте и в Алма-Ате. Посмотрел там гробы, нет такого гробовщика, как я!» — Он, насвистывая что-то веселое, протянул нам один из необбитых гробиков. Я был угнетен, поражен его самочувствием, его словами.

Карпык, которого это должно было задеть не менее меня, стоически успокоил меня:

«Не удивляйся. Этот кулак Яковенко высосал немало крови и из живых людей.»

Чолпон была такой же отзывчивой и чуткой, как и Сабыр. Она надолго запомнила рассказ мужа о смерти ма-

ленького сына Карпыка. Теперь она не могла пройти мимо ребенка, не приласкав его.

В книгах ее особенно стали интересовать те страницы, где описывались маленькие существа. «Ташкент—город хлебный», «Малыш», «Рыжик», «Правонарушители», «Дети капитана Гранта» и другие книги, рассказывающие о детях всех возрастов, стопками лежали на ее столе. В ее альбоме появились фотографии смеющихся, плачущих, задумчиво-важных бутузов. В этом же альбоме почетное место занимали испанские дети, погибшие в дни борьбы за свободу Республики. Песни и стихи о детях Чолпон вклеивала в особый альбом.

Когда Чолпон ездила с Сабыром в Москву и бывала в картинных галереях, то и там ее внимание приковывали те картины, на которых изображались детство и юность человека. Она долго стояла перед картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына» и сказала мужу:

— Вот это картина! Никто не может забыть своего ребенка, и взрослый, возмужавший человек остается для своих родителей все тем же любимым дитятей.

И подолгу, увлекаясь, она рассказывала о том, как сильно любил детей Ленин, как нежен был с детьми Маркс и как тяжело он перенес смерть одной из своих дочерей.

— Бедные, бедные детишки,—задумчиво говорила она.

Сабыр любил детей не менее, чем Чолпон. Он тоже читал много книг о детях, но это были книги медицинские, книги о детских болезнях.

— Вот прочитай это, — говорил он иногда жене.— Тут о ветряной оспе, а тут о скарлатине, эта книга о дифтерите, а это—про трахому.

И прибавлял:

— Одна из самых тяжелых болезней—трахома. Посмотри-ка на рисунок...

Чолпон вглядывалась, всплескивала руками:

— Бедненький! Веки выворочены и на одном глазу бельмо...

Молодая женщина содрогалась всем своим стройным телом.

О смерти ребенка Карпыка она горевала так, как будто умерло ее собственное дитя. Она говорила мужу: «Мне кажется, я своими глазами видела его предсмертные му-

ки».— И ее нежные глаза были полны ужаса и глубокого сострадания.

Муж успокаивал её, говоря, что жизнь ребенка зависит от умелого, разумного ухода. Чолпон слушала, не отрывая от Сабыра внимательных глаз.

— Да,— говорила она,— я буду так следить за своим Болотбеком, чтобы ни одна муха не села на него. Пока он не подрастет, я не отойду от него ни на шаг. А когда он станет ходить, буду водить его за собой, как цыпленка.

Сабыр смеялся:

— Хорошо. Поживем — увидим. А пока не взять ли тебе «для практики» дочь Қалдара, маленькую Уполь?

— А что же? Возьму, когда они станут переезжать. Мне тетушка говорила: «Почему не взять на время, будет опыт на будущее».

Как-то они обедали. Позвонил телефон. Сабыр опустил ложку на край тарелки, приложил трубку к уху:

— Хорошо... Сейчас, — и повернулся к Чолпон: — у Божакбая несчастье: заболел единственный сын. Беднята вчера целый день мотался за лекарствами. Пойду помогу...

Чолпон вздрогнула и торопливо сказала:

— Иди скорей.

И подозвала маленькую Уполь, входившую в дверь. Уполь, переваливаясь, подошла к тетке, взяла из её рук шоколадку и очутилась на руках Сабыра.

Скоро Сабыр ушел.

Чолпон села на край кровати и некоторое время сидела неподвижно. Перед её глазами повсюду, в каждом доме, стали проходить призраки умирающих детей. Ей представились их мучения, их беззащитность. И вот почудилось: в корчах умирает её будущий сын, Болотбек.

Из глаз Чолпон потекли слезы. Она прислонилась головой к никелю кровати и, не отрывая глаз, заговорила вполголоса:

— Мой дорогой мальчик! Птенчик мой любимый! Не могу снести укора твоих молящих глаз... Что делать? У него синеют губы. Что делать? Болотбек! Ты мучаешься, родной мой. Глазки закатываются... Что... что теперь делать?!

Чолпон вскочила, миг помедлила, потом с криком подбежала к телефону.

— Восемь восемьдесят восемь... Восемь восемьдесят восемь...— называла она номер.

Она была в полубеспамятстве и вместе с тем в страшном напряжении. Перед глазами ходили круги.

— Сабыра... Ты, Сабыр? Скорей... доктора... Беги к доктору Алексееву. Ребёнок умирает.

И она бросила трубку...

Сабыр не понял ничего, но немедленно вызвал машину и ринулся к доктору; не дав ему пообедать, он умчал его к себе домой.

Когда Сабыр и доктор выходили из машины, маленькая Уполь теребила свою тетку, неподвижно сидевшую в глубокой задумчивости.

— Тетя, тетя! Когда ты лодись мне Болотбека? Сася не дает мне своего маленького бобок,— лепетала она.

... Коварная смерть пугает все живые сердца. Но когда-нибудь она попросит пощады у науки...

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК

Кумербек сидел нахмурившись и пристально разглядывал автомат. Глаза его прищурились, вздрагивали губы. Оттого ли, что он долго смотрел в одну точку, или оттого, что печальны были его мысли, глаза его затуманились, и слеза дробинкой скатилась по руке.

Ощутив слезу, Кумербек смутился, оглянулся. Нет! Никто не видел его, и он, тяжело вздохнув, смахнул слёзы. Кумербек все ещё о чем-то думал, и улыбка тронула губы. Затем он засмеялся негромким счастливым смехом, словно увидел любимую, пальцы крепко-накрепко прижали к груди автомат. Пылающая щека затуманила металл, будто металл застыдился.

Едва слышно запел Кумербек:

Там, где я вырос, земля кругом
Ярким покрыта цветным ковром,
Барс там играет с теке под скалой.
Образ родимой земли — со мной.
Взгляд моей милой светлей янтаря,
Светит улыбка, словно заря,
Сердце пронзил её взгляд стрелой...
Образ любимой моей—со мной.

Несколько раз повторил Кумербек песенку, и голос его становился громче.

Асылбек поодаль чистил свою винтовку. Он притворялся, что не видит ничего и не слышит. Но состояние товарища передавалось ему. Он подошел к другу сзади, невольно подтянул напев.

Быстро обернувшись, Кумербек засмеялся:

— Ты? Откуда ты появился?

Друзья, смеясь, обнялись, как после долгой томящей разлуки.

— Руки мои чистили винтовку, уши слушали твой напев, и время от времени я метал в тебя, Кумербек, стрелы моего взгляда.— Асылбек, улыбаясь, наклонился к другу.— Понимал ли ты все это, или мой взгляд не коснулся твоего сердца?

Кумербек весело ответил:

— Конечно же нет! Разве искры твоих глаз могут сравняться с игрою её взгляда?!

— Верно, Кумербек. Правильную песню пел ты. И хоть блеск любимых глаз пребольно ранит сердце, но оно, бедное, на это никогда не пожалуется...

— А что же! Или акыны свои песни слагают для пустой забавы? Эх,— повёл Кумербек плечом.— А, чтоб тебе неладно было. Спутал шайтан мои мысли, забыл я конец песни. Ведь то — длинная песня. Иногда приходит на мысль: видно, как весь народ моей родины, моя возлюбленная родилась с сердцем батыра. Одна у меня она на земле.

— А отец, а мать?

— Эх, Асылбек. Не успел я, друг, почувствовать родительскую заботу, маленьким лишился отца и матери, никого у меня нет. И писем писать некому. Год на фронте, а получил одно только письмо. Должно быть, все мои товарищи в армии.

Асылбек положил руку на плечо Кумербека.

— Ну, а любимая?

Кумербек тяжело вздохнул и вынул из кармана гимнастерки фотографию девушки.

— Вот она! Росли мы с ней — два яблока на одной ветке, но не удалось нам соединить головы — война разъединила, а теперь и навсегда расстались.

— Разве всё так уж безнадежно?

— Когда я был уже в армии, она умерла. И не услышал я в последний раз её голоса, звонкого, как колокольчик. Всё время встречаюсь со смертью — и жив, а вот её уже нет.

Кумербек поднял голову и улыбнулся воспоминанию:

— Последние её слова: «Кумер мой! Я хочу быть с тобою в эти тяжелые дни. Хочу переносить все трудности, все опасности, хочу гордиться твоими успехами. Да что делать, ты идешь, Кумер, навстречу смерти, я же остаюсь здесь. Но где бы ты ни был, не забывай меня, твой же образ со мною, покуда жива. Я буду ждать тебя, всегда буду ждать»...—Кумербек покачал головой.—И она действительно ждала меня,— произнес он тихо,— но холод черной земли разом прикрыл, придавил все надежды. Остался я на земле навсегда одиноким. Хочешь, Асылбек, расскажу тебе историю нашей любви?

Команда лейтенанта прервала разговор. Друзья побежали, чтобы стать в строй. Славная минута: раздавали подарки, присланные киргизским народом. Выстроились бойцы, без слов изъявляли радость. Свертки быстро переходили из рук в руки. Командир приказал: «На отдых», а гостей повел осматривать боевые трофеи.

Бойцы же взволнованно, с любопытством разбирали подарки. Чего тут не было: папиросы, орехи, блокноты, книги, изюм, печенье, письма, платки, портсигары.

Но можно ли было предвидеть, что случится через миг. Когда Кумербек вынул из свертка подарков книгу и раскрыл листы, меж страницами оказалась фотография девушки.

Глаза лукаво, нежно смеялись, вот-вот заговорит она; но сидела девушка в полуоборот, и чудилось: этой позой она как бы отстраняется, уходит. Строгий изгиб черных смелых бровей — точно крылья ласточки. И брови эти, и нежное очертание губ наполнили Кумербека радостью. Он, торопясь, посмотрел на подпись на обороте фотографии: «Дорогой мой, бесстрашный батыр! Ты сражаешься за меня. Никогда я тебя не забуду. Постоянно буду думать о тебе. Я жду тебя».

Кто это? Почему она обещает Кумербеку ждать его?

Не обнаружив адреса, Кумербек сильно огорчился. Пальцы перебирали сверток, и из свертка, шурша, выпал конверт с надписью «ПНС № 1919, п/я № 11, отважному бойцу киргизского народа». Кумербек вскрыл конверт: исписанный лист бумаги и щепотка земли. Удивленный, недоумевающий, боец ссыпал землю в уголок конверта, принялся за письмо:

«Дорогой мой сынок! Эта щепотка — частица твоей родины. На этой земле жили твои деды и прадеды. Этой земли впервые коснулись твои неокрепшие ножки, её разбрасывали в детской игре твои ручонки. По этой земле ступал Манас. Чьей только кровью, чьими слезами не полита эта земля! Тебе всё это известно. Известно тебе и то, кто освободил нашу землю от давящего гнёта, положил начало её расцвету.

Любимый сын! Не смейся над стариком: он, может, выжил из ума. Каждый по-своему понимает жизнь. Тебе эта щепотка земли, может, покажется смешной, но, чтобы объяснить эти чувства, расскажу тебе сказку:

— Когда на земле появился мой народ — киргизы, вместе с киргизами родились два великана: Акынат — Истина, он родился от света дня; другой великан, Кыянат—Ложь, родился от мрака ночи. С рождения они — смертельные враги. Никогда меж ними не прекращалась борьба, и каждый миг один другого стремился уничтожить.

Придумал в один из дней Кыянат, как вернее сгубить Акыната и пригласил его в гости. Чтобы испытать, кто кого ловчее, решили они переплыть Иссык-Куль. Бурлило в этот день озеро. На бурлящей середине приверженцы Кыяната окружили Акыната, заплескали его синей озерной водой, защекотали, погрузили на дно озера. Много веков пролежал он на дне. Всё же могуч был Акынат и не умер. Но всякий раз, как, собравшись с силами, пытался великан подняться на поверхность вод, сторонники Кыяната погружали его на дно Иссык-Куля. Не думали киргизы увидеть когда-либо своего друга на земле.

Но на помощь киргизскому народу пришел дружественный, могучий, храбрый народ. Общими усилиями подняли они Акыната со дна озера, освободили из плена. Сожгли люди всех приверженцев тёмного великана на большом костре. Так Истина—Акынат навсегда водворилась над киргизской землей.

Ты поймешь сказку, сын мой. Щепотка земли, земли Акыната, напомнит тебе о солнце и радости родины.

Я — глубокий старик. Единственная моя надежда и гордость, звезда моя — дочь. Сила и опора моя — ты. Моя любовь — земля моего отечества. Храбрый сын мой,

то, что держишь сейчас в руках,— послали мы с дочкой. Не знаю тебя, но ты родной нашим сердцам.

Любишь ты родину, тоскуешь о ней, ради неё идешь на смерть. Эта щепотка земли пусть глубже и вернее напомнит тебе родину, и чем больше станешь тосковать о родине, тем безжалостней бей врага.

Киргизы говорят: «Батыр родится, чтобы жить и умереть за родину». Не забывай этого завета. Твои деды никогда не отступали перед врагом. Как и они, презирай смерть. Пусть смерть боится тебя.

Незнакомый тебе твой дядя Кыргызбай. Никогда не видевшая тебя сестра Гюлайим».

Кумербек опустил письмо — он дрожал. Прикрыл глаза — затопила грудь небывалая радость, обилие счастья. Нащупал Кумербек в подарках блокнот. Быстро побежал карандаш:

«Уважаемый аксакал!

Золотые твои слова навек лягут на моё сердце талисманом. Буду защищать, как зеницу ока, свою родину. Никогда щепотка советской земли не будет осквернена прикосновением врага. Клянусь — никогда честь воина не будет затемнена и крошечным пятнышком! Твой сын боец Кумербек.» Кумербек оторвал листок блокнота, набросал первую строку другого письма:

«Незнакомая, любимая Гюлайим...»

ПРИЗНАНИЕ

Алмадай очень хорошо знала характер своего мужа. Поэтому она осторожно заметила:

— Подумай, отец, подумай ещё раз. Что мы будем делать, если дочь уйдёт со своим возлюбленным, не спросив нас с тобой! Мы не можем распоряжаться их любовью, не можем неволить их.— Алмадай улыбнулась и продолжала:— А сам ты разве не был молодым? Помнишь, как не хотел ты жениться ни на ком, кроме меня? Я и по сей день помню твои слова любви...

Сабыр едва заметно улыбнулся.

— Это так,— начал он,— мы с тобой должны сделать все для счастья единственной дочери. Но ведь этот парень, которого ты называешь женихом,— счетовод. Из соседнего колхоза. А я терпеть не могу счетных работников. Когда они начинают перебирать костяшки на счётах, то забывают обо всём остальном мире. Сколько в это время ни обращайся к ним, они даже глаз на тебя не поднимут, не ответят. Пойми, Джыпар ошибается. Мужчина должен быть мужчиной, настоящим джигитом. Он должен согревать сердце без огня. Вот чего я хочу. Ты слушай эти слова и запомни,— продолжал он.— А если вы с дочерью не хотите слушать доброго слова, то оставьте меня. Хоть и состарился я, а как-нибудь проживу остаток жизни один... выращивая любимых скакунов.

Приближался день национальных спортивных игр. Табунщик Сабыр забывал о пище и сне. Он упорно тренировал своих скакунов. В этом помогали ему его друзья — подростки.

— Ошибочно я дал этому коню кличку Каракез, надо было назвать его Чагылган. Эх, с быстротой падающей звезды полетит он на скачках! У тебя крепкая рука,— обращается Сабыр к одному из юношей,—когда начнутся скачки, вначале придерживай скакуна, вперед не скачи, но и не отставай, а приближаясь к финишу, пусти коня, пусть он летит, не чувствуя тяжести всадника, и ты лети вперед, слившись с конем.

К лошадям Сабыр всегда обращался так: «Кони мои, скакуны мои». В последнее время он стал особенно ласков с лошадьми и ещё больше подчеркивал слово «мои». Последние три года его Каракез постоянно получал первые призы.

Сабыр, довольный и гордый своими скакунами, говорил ребятам:

— Мой Канжар-кулак — сильный, замечательный скакун. Чем длиннее расстояние, тем лучше для него. А Алма-баш полетит вначале, как испуганный архар.

Иногда старый табунщик подходил к одному из своих коней и начинал приговаривать: «Надо мной смеются, что я разговариваю с лошадьми, как с людьми. Пускай! Ну-ка, поговорим с тобой. Когда начнутся скачки, ты не подводи колхоз, не подводи меня, старика...»

У Сабыра была одна старая привычка: он никогда никому не показывал, как тренировал своих лошадей, но любил смотреть, когда другие готовили к скачкам своих скакунов. Особенно строгим он становился дня за два до скачек.

Сегодня Сабыр сказал ребятам:

— Давайте потренируйте моих желжетпесов перед скачками.

Сказав это, Сабыр заложил руки за спину и направился к своему любимому Каракезу.

Молодые наездники, окружив коней, заговорили о предстоящих скачках, которые состоятся завтра, хвалили Сабыра. В самый разгар беседы Сабыр крикнул:

— Едет чужой человек!

— Тот, кто едет сюда,—лучший джигит колхоза имени Ленина, Маанек.

К группе колхозников подъехал молодой человек с бледным лицом, в военной форме без знаков отличия. Он

ловко соскочил с коня, повесил камчу на луку седла, подошёл к людям и приветливо поздоровался.

То, что Маанек подошел к ним здороваться, спешившись и оставив камчу, понравилось не только старику Сабыру, но и молодым. Это было признаком учтивости. Такой джигит достоин уважения.

Конь Маанека, гнедой, с большой лысиной, следовал за хозяином. Он то трогал мордой своего хозяина, то пробовал копытом землю и грыз удила. Сабыр любил хорошую беседу, но увидев лошадь Маанека, уже не слушал, о чём говорили наездники. Он всё смотрел на гнедого с лысиной, любовался им.

— Сабыр-ата, — обратился Маанек к старику, — тридцать лет вы выращиваете скакунов и уже давно славитесь на весь Тянь-Шань, так же славятся и ваши кони.

— Разве ты не здешний, сынок?— прервал Сабыр Маанека.

— Я один из ваших сыновей. В юношеские годы учился, потом уехал служить в армию и вернулся в прошлом году.

— Молодец, молодец! И одежда твоя говорит о том, что служил в армии. Значит ты воин, сынок. Кто откормил твоего коня?

Маанек хотел сказать, что лошадь его откормлена им самим, но скромно ответил:

— Один из наших колхозников. У нас нет таких, как вы, заяпкеров. Вы лучше всех знаете лошадей, таких знатоков осталось мало. И мне хотелось показать вам мою лошадь.

Слова молодого человека пришлись Сабыру по душе.

— Немного отойдите, ребята,— сказал знаменитый заяпкер и стал осматривать гнедого. А конь, словно борзая, шел за хозяином, касаясь губами его плеча, и иногда пугливо озирался по сторонам.—Вы родились в другую эпоху, вы не то, что мы. Если видите, что животное имеет копыта и гриву, радуетесь, думая, что это настоящий конь. Надо знать качества коня, его душу, надо любить его. А вы этого не понимаете. Ездите на блестящих легковых машинах, поднимаетесь выше беркутов на самолетах, быстрее ветра летаете среди звезд, крыльями касаясь луны. И что для вас конь! Но конь—

крылья молодца!.. Какой породы твой конь, сынок, и есть ли у него кличка?

— Смесь киргизской и донской породы, а кличка — Жалын,— ответил Маанек.

— Молодец... гм... гм... Пусть живет твой конь. Он, кажется мне, может состязаться с моими желжетпесами. Коней надо знать, сынок!

Сабыр хотел погладить лошадь по шее, приласкать ее, но гнедой поднял уши и начал толкать старика мордой. Сабыр не боялся лошадей.

— Ай, неразумный, что ты делаешь?—приговаривал прославленный заяпкер, поглаживая гнедого по шее.— Вот так, вот так! Ты не пугай меня. Вот так... Я знаю твою душу, неразумный. Я знаю: ты коняшка гордый, ты кербез.

Конь стоял смирно, словно соглашаясь с тем, что говорил старик.

— Конь твой без изъянов, сынок, только, может быть, он полней, чем полагается. Участвуй с ним в скачках, испытай счастье... Если не первый приз, то четвертый или пятый получит твой гнедой. И это неплохо!

Старик честно говорил то, что думал. Но не оценка коня интересовала Маанека. Конь был просто предлогом, а приехал он по совершенно другим делам. Но получилось не так, как он хотел.

— Если вы разрешите, я поеду обратно, аксакал,— проговорил Маанек.— Спасибо за то, что вы похвалили моего коня. Если будем здоровы, встретимся на ипподроме.

Маанек понравился Сабыру. И, глядя вслед молодому человеку, он сказал:

— Из него выйдет толк. Он не забывает хороших обычаев народа.

Спартакиада началась. Выкопали двадцать пять ямок глубиной в десять, пятнадцать и двадцать сантиметров. Интервал между ямками составлял пятнадцать метров. В каждую ямку бросили по двадцать пять, пятьдесят и сто рублей, и началось состязание всадников. Каждый из состязавшихся должен был показать свою ловкость, выхватывая на скаку деньги, лежавшие в ямках.

Некоторые из всадников не только не могли схватить денег, но даже и не пытались сделать этого,—одних кони проносили мимо, не дав им опомниться, другие не могли ни дотянуться до денег, ни сесть обратно в седло, иные срывались с лошадей, падали и, смущенные, вставали под общий смех. Те, которым удавалось схватить деньги, показывали свою добычу народу и делали следующий заход.

Маанек помчался последним. Он протягивал руку к нескольким из ямок. Но схватить деньги ему не удалось. Он вернулся на своё место, спешился и, улыбаясь, стал подтягивать подпруги.

Старика Сабыра почему-то огорчило то, что Маанек вернулся с пустыми руками. «Эх, неудача у парня,—подумал заяпкер.— Он даже стесняется подойти к нам». И, обращаясь к тем, что стояли возле, старик сказал:

— Парень очень ловкий. Но он не владеет секретом дела, чёрт возьми!

А между тем стоявшие рядом вели такой разговор:

— Говорили, что этот парень очень ловок в верховой езде; оказывается, это были пустые разговоры.

— Он снова садится на коня, бедняга!

— Он еще хочет попытаться схватить деньги! Мечта не знает границ...

Сабыр хотел было как следует ответить тем, которые посмеивались над Маанеком, но его перебили возгласы:

— О, смотрите, смотрите!

Когда гнедой с лысиной конь пустился галопом, Маанек начал джигитовку, которая удивила всех собравшихся. Он крутился на своем гнедом Жалыне с быстротой вихря. Он прижимался головой к груди лошади, срывался с коня, снова садился в седло, делал стойку на скаку.

Все это было прекрасно и поразительно.

Сабыр впервые за всю свою жизнь видел подобную джигитовку. Сейчас он не верил своим глазам. По всему телу его бегали мурашки. Потом Маанек на бешеном скаку с невиданной быстротой стал направо и налево хватать деньги, лежавшие в ямках. Он хватал их из каждой второй ямки. Раздались возгласы:

— Молодец, солдат! Бали, бали!

Сабыр, пораженный, сидел на своем коне. Он не шевелился, словно прирос к седлу.

Маанек, джигитуя, подъехал к судьям, улыбаясь, посмотрел на Сабыра и бросил деньги на стол со словами:

— Пожалуйста, делите приз!

Восхищенному Сабыру хотелось соскочить с коня, но обычай не позволял делать этого, и он сдержал себя.

Начались скачки. Первый круг прошли первыми два сабыровских скакуна. Жалын Маанека был шестым.

Второй круг он шел четвертым, а Каракез Сабыра скакал рядом с ним стремя в стремя.

Сабыр был уверен в своем Каракезе и стоял, спокойно улыбаясь.

Когда начался последний круг, все резко изменилось: некоторые из скакунов, которые до того отставали, теперь шли впереди, а иные из тех, что первые круги были первыми, теперь отставали. Каракез летел первым, но и Жалын продолжал скакать рядом с ним стремя в стремя. Все зрители невольно встали со своих мест. Они кричали, рвались вперед, словно сами сидели на конях.

Жалын опередил Каракеза на длину шомпола. И этот интервал уже остался неизменным до конца.

На глазах Сабыра, который в этот момент напоминал старого беркута, собирающегося в полет, заблестели слезы. Он крепко пожал руку Маанека и сказал ему:

— От всего сердца поздравляю, сынок, от всего сердца!

Снежок, который выпал ночью, начал таять с утра.

— Молодые табунщики не имеют опыта: как бы чего не случилось с табуном!— сказал Сабыр и поехал к табуну.

Подъехав, он увидел, что все в порядке, и про себя подумал: «Оказывается, не я один знаю, как надо ухаживать за табуном». Потом он рассказал молодым помощникам обо всем, что видел интересного: о Маанеке, о его смелости, уме, искусстве в верховой езде, хвалил его Жалына и заключил:

— Вы, верно, не знаете этого джигита.

Высокий смуглый джигит ответил:

— Джигит, о котором вы рассказывали,— мой друг. Мы с ним сражались против фашистов в Латвии, Литве,

Эстонии и вместе брали Берлин. Сейчас Маанек работает счетоводом в колхозе имени Ленина...

Приехав к себе домой, Сабыр, не слезая с коня, громко крикнул:

— Ой, мать, Джыпар, дома вы? Выходите сюда! Живей!

Алмадай вышла, улыбаясь.

— Отец, видно, в эту ночь тебе приснился хороший сон. Что случилось?

— Какой там сон! — Сабыр улыбался, приглаживая бороду.— Ты хочешь, чтобы я верил снам? А я верю Джыпар. Она ведь не верит снам. Хозяевами знаний являются наши дети. Я признаю свою ошибку. Ты знаешь джигита по имени Маанек?

— Знаю... Нет, слыхала о нем,— ответила Алмадай со смущенной и вместе с тем лукавой улыбкой.

— Знаешь ли ты его, слыхала ли о нем,—все равно: я теперь согласен! Моя Джыпар не ошиблась. Пусть живут счастливо они и не расстанутся вовек!

РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ

I

Хмурая степь. Ни волнующегося хлебного поля, ни зеленого луга. Лишь редкие кусты полыни подрагивают от ветра, напоминая продрогших овец, да вдруг пробежит полевая мышь, задрав свой тоненький хвостик.

И небо здесь тусклое, серое. Горы затянуло мглой. Над их вершинами, спеша на восток, обгоняя друг друга, плывут темные тучи.

Ветер поднимает в воздух пыль. Уныло гудят телеграфные провода, протянувшиеся вдоль дороги. Пусто, безлюдно. Да и кому захочется жить в таких неприглядных местах...

Среди заброшенных могил — единственных обиталищ этих пустынных степей — как призрак, мелькнуло и тут же исчезло какое-то существо. Спустя некоторое время призрак появился вновь. Теперь он был не один. Рядом с высокой, точно вытянутой вверх, фигурой появилась низкая, приплюснутая. Промелькнув среди могильных холмов, призраки исчезли, будто спустились в могилу.

— Видно, такие же, как мы, обреченные на голод несчастные,—сказал белобородый Бектурган, усаживаясь на землю.

То ли Бектурган впал в горькие раздумья, то ли его львиное сердце было надорвано мучительным голодом, но только из глаз его текли слезы и крупными прозрачными каплями падали с кончика бороды.

Маленький смуглый мальчик принялся готовить чаныт — жидкую похлебку из толокна, разбавленного в воде. Вдруг он увидел, как по морщинистым щекам отца покатились слезы. Мальчик тоже заплакал. Старик вздрогнул. Он никогда раньше не плакал — и поразился своей слабости. Бектурган поспешил смахнуть слезы обтрепанными полами халата.

— Не плачь, сынок, это я так...—слабым голосом успокаивал он малыша.

Сын впервые почувствовал в голосе отца усталость, а его неожиданные слезы произвели на мальчика тяжелое впечатление.

— Ты вспомнил маму, атаке? — посмотрел мальчик на отца печальными глазами.—А солнце уже всходит. Нам пора уходить.

Мальчик впервые заговорил с отцом так рассудительно, по-взрослому. Для Бектургана это было ново—ведь он считал сына несмышленышем, малым ребенком. Слезы опять затуманили старику глаза. Он поднялся на ноги, притянул сухими, жилистыми руками сына к груди и поцеловал в обе щеки.

— Да, милый, пора. Солнце уже поднимается. Будем продолжать путь...

Малыш протянул отцу коночок с чанытом.

— Атаке, где вы похоронили маму?—спросил он.— Почему не показали мне? Я на ее могиле, когда вырасту, большой кумбез поставлю.

Бектурган не ответил. Он долго сидел в глубоком раздумье, а мальчик, печально опустив голову, стоял перед ним и ждал ответа.

Перед глазами Бектургана встали картины пережитой недавно трагедии. Перевал Ак-Огуз. Здесь погибла его бедная жена. Бектургану кажется: она провалилась в глубокую трещину ледника и пытается выбраться из нее, напрягая последние силы, цепляясь пальцами за гладкие скользкие ледяные стены...

«...Где ты, бесстрашный Бектурган с львиным сердцем? Как ты мог покинуть меня в этих страшных льдах! Где твоя сила, где твоя храбрость, муж мой! Дай мне взглянуть на моего Омурбека! Омурбек, сын, где твой отец, жив ли он?!»

Бектурган явственно слышал душераздирающие крики несчастной, молившей о спасении. Свет помутился перед его глазами, он забыл, где находится, что с ним, сознание чуть не покинуло старика. Коночок выпал из его рук и покатился. Старик испугался, подхватил кожаный сосуд, из которого выливался чаныт. А Омурбек припал к земле и с жадностью принялся пить смешавшуюся с пылью похлебку.

Острая жалость кольнула старика. Он поднял мальчика с земли:

— Дорогой мой, звезда моя!.. На, допей вот это, — подал он сыну коночок.—Скоро мы придем в аил. Там найдем толкан...—Помолчав, Бектурган спросил:—А ты... песенку свою не забыл?

— Нет, атаке, не забыл. Я еще одну песенку знаю. Помнишь, ее пел тот мальчик?

— Скоро ты станешь джигитом,—ласково гладил Бектурган черноволосую голову сына, — а у твоего отца борода станет белая-пребелая. Ты будешь седлать мне коня, будешь крошить мне мясо... Вырастешь ли ты щедрым, сын мой, или будешь скупым?

— Я буду щедрым, атаке,—твердо сказал Омурбек, допив оставшийся в коночоке чаныт.— Для таких голодных странников, как мы, я не пожалею ни лепешек, ни толкана.

Бектурган улыбнулся. Его морщинистое лицо сморщилось еще больше и напоминало сушеное яблоко. Он опрокинул пустой коночок над ладонью и выцедил из него две капли сероватой жидкости. Слизнув капли, Бектурган внимательно осмотрел через широкое горлышко внутренность коночока, тяжело вздохнул и, поднявшись с земли, сказал:

— Ну, милый, вставай, пошли дальше.

Омурбек взял у отца коночок и на ходу, как котенок, облизывал горлышко. Бектурган шел, обхватив руками закинутый за спину и прижатый к пояснице посох. С наклоненной вперед головой, втянутым животом, он сбоку походил на обновленную луну. Бектурган молчал, только тяжелые вздохи нарушали безмолвие степи.

— Атаке!—окликнул его шагавший следом Омурбек. Бектурган, выпростав из-за спины посох и опершись на него, обернулся к сыну.

— Я отстаю, атаке!

— Шагай проворней, милый. До аила совсем близко. Я уже слышу запах топленого сала. Вон в том овраге стоят юрты, идем быстрее...

Мальчик ясно представил себе хлеб, масло, толкан в кислом молоке. Он стал проворнее перебирать своими тонкими ножонками. А вкусный запах поджаренного сала все сильнее щекотал ноздри и заставлял глотать слюну.

Бектурган не ошибся. Когда они подошли к оврагу, то увидели четыре юрты. Та, что стояла повыше, была покрыта белой кошмой и походила на скорлупу куриного яйца. Три других—серые. По сизому дымку, струившемуся над белой юртой, не трудно было догадаться, что там, в очаге, горел курай, и приятный запах сала, в котором, по-видимому, жарились боорсоки, шел именно отсюда. Путники направились прямо к белой юрте.

— Салам алейкум! — со словами приветствия вошел Бектурган в юрту.

Человек с круглой черной бородой, одетый в теплый бешмет, не удостоил вошедших взглядом. Он продолжал возлежать, опершись на локоть. Мальчик устремил голодный взор на медную чашу, доверху наполненную боорсоками. Хозяйка юрты — молодая, красивая женщина с румяными щеками—метнула злобный взгляд на Бектургана. Она молча отодвинула медную чашу и сняла с очага котел. Худенький мальчуган, сидевший у очага и подкладывавший в огонь курай, поднял два боорсока, выпавшие из шумовки, один тут же отправил себе в рот, а второй отдал Омурбеку. Тот схватил его с ловкостью ястреба, настигшего добычу.

Бектурган, не получивший ответа на приветствие, был обижен. «Будь я сыт и к тому же молод, разве не повалял бы этого мерзавца в золе?» — подумал он.

— Господин! — обратился он вторично к хозяину юрты.—Богатый может сказать все, что ему взбредет в голову, а бедный — съест все, что попадет под руку... Несчастье свалилось на нашу голову, и мы вынуждены ходить и просить милостыню. Подобные нам турпанчи, видно, одолевают вас. Но голод заставляет забыть про стыд и совесть.

Человек с черной бородой и на эти слова Бектургана не обратил никакого внимания. Он покосился на старика

и еще удобнее устроился на подушках. Тогда Бектурган обратился к хозяйке:

— Сноха! Дайте хоть моему мальчику поесть что-нибудь.

Женщина будто и не слышала слов Бектургана. Она торопливо поднялась с места, на ходу вытащила из кармана чолпу, закинула назад и, позвякивая серебряными монетами, вышла из юрты.

Переносить унижение для мужчины хуже смерти! Поведение хозяев юрты окончательно вывело из себя Бектургана. «Самое большее, что они сделают,—это ничего не подадут и выгонят из юрты»,—решил старик.

— О создатель! Это не юрта, а могила! Обитатели ее не живые люди, а покойники! Да и покойники не остались бы равнодушными и помогли голодным! Здесь логово злых духов, шайтанов! — в сердцах сказал Бектурган.

Хозяин, не ожидавший от нищего подобной дерзости, почувствовал себя так, будто на него выплеснули ведро холодной воды.

— Кто ты такой?—крикнул он, вскочив на ноги.

— Я тот, кто переломил хребет самому Казбаю, считавшему себя богом Семиречья! Тот, кто растоптал его, смешав с грязью! Я тот самый Бектурган, которого знают все киргизы и казахи! «Боевой конь—к случаю»,— говорит пословица. Вот теперь я стою перед тобой, жалкое ничтожество, и выпрашиваю кусок хлеба! Но придет еще другая жизнь, и затянутся на моем сердце раны. Тогда ты первый будешь приветствовать меня!

II

Прошел день. К той же юрте приковыляла нищенка с ребенком на руках. Только она хотела переступить через порог, как огромный черный пес подскочил сзади и впился зубами в ее ногу.

— Помогите!—жалобно застонала бедная женщина, падая на порог. Черный пес помотал головой, выбросил изо рта клочки изодранного чулка и с злобным рычанием забегал вокруг юрты.

Из раненой ноги струилась кровь. Женщина, прижимая к груди своего младенца, вползла в юрту.

— Милая, добрая сноха. Возьми себе на воспитание моего несчастного ребенка,—стала она умолять молодую хозяйку.—Ни на этом, ни на том свете я никогда не буду требовать его себе. Бедненький! Сколько страданий он перенес с нами. Отец его умер от голода. И у самой у меня душа подступила к горлу.

Несчастная женщина протягивала к хозяйке завернутого в лохмотья ребенка. Но никто ни слова не проронил в ответ.

— Мусульмане! Возьмите его. Если он умрет—похороните, а вырастет—будет вам опорой... Не дайте же ему умереть, пусть всю жизнь он будет вашим преданным рабом.

Молодая краснощекая женщина, оплетавшая цветными нитками чий, поднялась и уставилась дикими глазами на сидевшего тут же и латавшего чокои бледного мальчугана:

— Ой, чтобы ты подох! Выпроводи скорей эту тварь! Что это за существо — албарсты или жолмогуз? Гони ее, а то, не дай бог, еще приснится! Ну, что ты сидишь как истукан! — продолжала она кричать на мальчугана, замахиваясь связкой чия. Мальчуган шмыгнул носом, глазами полными скорби посмотрел на женщину с ребёнком и молча направился к двери.

— Айланайын келин! Я вижу, ты добрая, ты не обидишь человека. Сам бог отплатит тебе за твою доброту. Возьми ребенка, айланайын! — умоляла женщина красавицу и, не обращая внимания на ее ругань, с мольбой смотрела на нее.

— Чем твой ребенок лучше других? Такие дети теперь валяются под каждым кустом. Их раздирают собаки и хищные птицы. Пусть они подохнут, если бог не дал их мне самой! Уходи! Уходи и не надоедай!—с яростью кричала хозяйка, пиная женщину ногой.

— Дочь моя! Зачем ты обзываешь меня нехорошими словами? Не подашь—не надо, силой я не отниму у тебя ничего. Но не надо пинать — я ведь тоже человек... Если одна половина луны светлая, то другая темная. Если на чалого коня надеты железные путы, то найдется чем их перепилить! — сказала бедная женщина и залилась слезами. Но хозяйка не унималась:

— О несчастье! И днем они перед глазами, и во сне нет от них покоя. Вчера этот вор, Бектурган, надоедал...

Не знаю, в чем душа у него держится, а все норовит песни петь. Умели бы хоть милостыню просить как следует. Так еще детей своих суют... Когда вас только смерть заберет! Уходи, чтобы я не видела тебя больше! — неистовствовала хозяйка. Вытащив из очага горящую хворостину, она замахнулась на нищенку. Голодный ребенок жалобно заплакал... Несчастная женщина, припадая на покусанную собакой ногу, покинула аил.

Поднявшись из оврага, нищенка увидела Бектургана и его сына. Они искали среди едва пробивающейся зеленой травки текей и тюльпаны и, откопав корешки, поедали их.

Нищая положила ребенка у самой воды, присела на одно колено и обратилась к Бектургану:

— Аке, айланайын аке! Не найдется ли у вас чего-нибудь поесть?

— Есть, есть, дочь моя. Подойди поближе,—ответил он и, развязав один из двух узелков в старом бязевом кушаке, где у него было припрятано с десяток боорсоков, отсчитал половину и отдал женщине. Она тут же отправила их в рот, разжевала и стала жеваным хлебом кормить ребенка.

— Откуда ты, дочь моя?

— Из рода Бугу, аке. Спасибо вам,—ответила женщина голосом человека, перенесшего тяжелую болезнь.

— А я из рода Сарыбагыш, дочь моя,— отрекомендовался старик.—Больше ничем не смогу тебе помочь. Давай наберем текей, поедим и тронемся дальше. Эти боорсоки я выпросил вчера у Бобончу.

— Я сегодня была у него. Их собака укусила меня за ногу. А его жена пинками выставила меня из юрты. Оказывается, бог создал некоторых людей только для того, чтобы другие издевались над ними, аке...

Она потрогала рукой искусанную ногу и заплакала.

— Аке,—вздохнув, сказала она,—сегодня, видимо, я не смогу тронуться с этого места. Вы меня не ждите.

Бектурган промолчал. Он побродил по полю, насобирал горсть текея и вернулся к женщине.

— На, дочка, поешь пока это. А мы отправимся потихоньку,—сказал он, подавая ей текей. Затем развязал второй узелок и высыпал ей на ладонь половину толкана. Потрескавшиеся губы нищенки дрогнули, но она не изда-

ла ни единого звука. Когда она пересыпала толкан на кончик грязного одеяла и стала завязывать узелок по ее щекам вновь потекли слезы.

— Омурбек! Иди, милый, сюда! — кликнул Бектурган сына, ьсе еще занятого сбором текея у родника.

Глотнув воды из коночока, Бектурган тяжело вздохнул.

— Прощай, келин. Наберешься сил — двигайся дальше. Живы будем, встретимся.—Нагнувшись над ребенком, он нежно потрогал его пальцами за носик.

Женщина, видимо, хорошо понимала всю безвыходность положения, в котором она очутилась. Она тихо плакала. Ей очень не хотелось расставаться с этим добрым, отзывчивым человеком, но идти с ним у нее не было сил, а задерживать его она не могла.

— Спасибо вам, аке,—поблагодарила она Бектургана.—Спасибо за вашу доброту. Меня... меня зовут Айша. Я знаю, жить мне осталось не долго. Если мы больше не встретимся, прочтите молитву из корана за упокой моей души. Самое дорогое для меня—мой несчастный ребенок. Что с ним станет? Кому он будет нужен?

Бектурган не нашелся, что сказать ей в утешение.

— Прощай, дочь моя. Не отчаивайся, все может измениться к лучшему,—пробормотал он и отправился в путь. Омурбек положил в рот оставшийся в руке текей и поспешил за отцом.

Старик шел и все оглядывался назад. Он не мог забыть несчастную женщину, провожавшую его со слезами на глазах.

Бектурган надеялся к вечеру дойти до Каракопуза. Но он так ослабел, что надежда его не сбылась.

Когда багровое, будто охваченное пожарищем, солнце пряталось за горизонт, путники брели среди могил.

«Не здесь ли в тот раз промелькнули силуэты? Что с ними стало?»—подумал Бектурган.

— Гав-гав! — раздался вдруг из-за могильного холма собачий лай, заставивший путников вздрогнуть от неожиданности. Мальчик в страхе закричал. Они отскочили в сторону. Откуда-то выбежал огромный черный пес и лег у провалившейся могилы. Бектурган догадался, что собака охраняет своего хозяина.

— Эй, кто тут есть?! Выходи!—крикнул Бектурган. Но никто не отозвался. Тогда он присел у края могилы и стал прислушиваться—не отзовется ли кто. Прошло несколько минут. Никто не отозвался и не появился. Маленьким Омурбеком овладел страх. Ему почудилось, что из могилы слышится чей-то голос, а их окружают мертвецы в белых саванах. Вцепившись в отцовскую руку и испуганно озираясь, он прошептал:

— Атаке! Мне страшно!

— Не бойся. Кого ты испугался? У этой собаки здесь, наверно, хозяин. Собак не надо бояться!

— Я не собаки боюсь, а мертвеца, про которого рассказывала бабка-колдунья. Как бы нас мертвецы не окружили!

— Бабка-колдунья врет. Я пойду, разбужу хозяина этого пса, наверно, он спит, — сказал Бектурган.

Отогнав собаку камнями, он спустился в могилу. Собака, отбежав в сторонку, легла, не сводя глаз с обвалившейся могилы. Скоро Бектурган вылез.

— Тут, оказывается, турпанчи с семьей поселился. Вот смотри, что он мне дал! — показал Бектурган сыну горсть ячменя и нож.

Он солгал: все это он нашел около двух умерших с голоду людей.

— Пойдем, поджарим и покушаем,—сказал он сыну, будто радуясь удаче.—Пошли!

Едва они сделали несколько шагов, как собака вскочила, принюхиваясь, обежала вокруг могилы, села и, задрав морду, жалобно завыла.

Бектурган изредка оглядывался назад, быстро удаляясь от могильника. Вот уже не слышно воя собаки, а вот уже и собака исчезла из виду...

III

Маленький Омурбек то выбежит с плачем из одинокого шалаша, то снова скроется в нем.

— Атаке! — зовет он отца.

Приподняв ногу, он трогает подошву, пораненную об острый пенек камыша, и снова заливается слезами:

— Ата! Атаке!

Но отец не слышит сына. Он ушел. Омурбек смотрел туда, где скрылся отец. Перед ним расстилалась широкая равнина, за которой вздымались к небу высоченные горы. Вдруг ему вспомнился могильник. И снова померещились вставшие из могил скелеты покойников. Накрытые белыми покрывалами, они подходили к нему все ближе и ближе. Омурбек съежился, вполз в шалаш и забился в угол, с ужасом глядя на толпившиеся снаружи скелеты. Ему показалось, что они даже зубами стучат, разговаривая между собой. Наконец, он в изнеможении уснул. Но и во сне мертвецы не давали ему покоя: они гонялись за ним и чуть было не поймали, но на выручку подоспел отец...

А в это время к холму, что высится по ту сторону Токмака, подходил нищий. Это был Бектурган. Он ни на минуту не переставал думать о своем Омурбеке: «Небось съел уже горсть толкана и теперь лежит на солнцепеке».

На холме, к которому подходил Бектурган,—много людей.

— Увидите, я заставлю вас убить друг друга!..— раздался из толпы чей-то властный голос.

Бектурган ничего не понял. Что тут происходит? Он протиснулся сквозь толпу.

— Салам алейкум!—поклонился он, приложив руку к груди.

Небольшого роста человек, с круглым брюшком и козлиной бородкой, поправил на голове огромную чалму, отхаркавшись, сплюнул на кучу свежей, только что вынутой из ямы земли.

— Ой, вор Бектурган, это ты? Откуда тебя принесло? Вот они—твои ученики,—сказал он злобно, показывая пальцем на молодого джигита со связанными за спиной руками.

Джигит сидел на раскаленной солнцем земле, он не поднял головы и молчал. Бектурган все еще не понимал, что здесь происходит.

— Какой мой ученик? — сказал он в ответ на слова человека в чалме.

— Это такой же вор, как и ты! Хулиган! Он обворовывает нас, как будто мы виноваты в том, что он убегал в Китай. Так чьи же они ученики, как не твои? Ну!

Бектурган не переносил грубости. Глаза его налились кровью.

— Супа, я не понял твоих слов. В чем ты меня обвиняешь?.. Ты сам, насколько мне помнится, гриф, питающийся падалью! — ответил ему Бектурган.

Люди слушали молча. Все смотрели на Бектургана. Кто-то осторожно дернул его за рукав, как бы предупреждая, чтобы он вел себя сдержаннее.

— Замолчи! Я быстро отправлю тебя на виселицу! Эй, где вы там?! — крикнул молдо своим джигитам.

— Если ты меня сегодня повесишь, завтра найдутся люди, перед которыми тебе придется держать ответ. Я не ягненок, которого взял да прирезал — и дело с концом. Я—Бектурган! Попробуй меня взять! За меня есть кому постоять!

Молдо, видимо, одумался и остановил своих джигитов.

— Как ни говори, а Бектурган все же герой,—с восхищением заметил один из присутствующих своему соседу. Он знал старика:—Это старый волк! Он и жизни своей не пощадит!

Джигит со связанными руками поднял голову и обратился к Бектургану:

— Старик! Эта могила роется для меня! — Запнувшись на миг, он продолжал:—Эта могила моя! Ее роют для меня два моих близких друга. Их заставил молдо Супа. Я несу наказание за горсть толкана.

Охваченный яростью, джигит стал швырять ногой выбрасываемую из ямы землю. Его глаза горели, как у разъяренного в схватке беркута.

Никто не хотел верить, что его закопают в эту яму.

«Все это делается для острастки,—думали про себя собравшиеся.—Если бы решили казнить, то давно бы повесили вон на той виселице».

— Эй, вороны! Отойдите и станьте вон там, подальше. Сейчас тройка будет выносить свой приговор!

Толпа подалась назад. Около молдо Супа остались двое: русский и киргиз. Арестованный джигит так и сидел на куче вынутой из ямы земли. Неподалеку от него совещались судьи.

— Что это за люди?—спросил Бектурган стоявшего рядом с ним человека.

— Это так называемая тройка. Один русский и два киргиза. Что они решат—то и закон. Несчастных, страда-

ющих от голода беженцев они обвиняют в воровстве, и те должны гибнуть от рук этой тройки. Вы сами видите, что они делают! Тот джигит со связанными руками был домашним работником у молдо... Он без разрешения взял у своего хозяина горстку толкана и съел. Да и нищим подал, видимо. Вот за это над ним и собираются теперь учинить расправу.

Бектурган сдвинул брови, но не проронил ни слова. В его голову запали мрачные мысли... Глаза, устремленные на связанного джигита, еще больше налились кровью.

— Эй! Теперь можете подойти поближе!—объявил толстопузый Митрий, хлопая огромными ладонями. Протяжно свистнув, он поднялся на ноги.

— Вот что, миряне,—начал молдо Супа,—оглашаю решение тройки. Как вы видите, один из могильщиков— Эшим. Есть подозрение, что он является сообщником вора Исана. Тройка решила: если он хочет снять с себя подозрение, пусть кетменем отрубит голову Исану. Если откажется выполнить это решение, тогда сам вместе с Исаном ляжет в могилу! Таков наш приговор. Вы будете свидетелями приведения его в исполнение. Ну, Эшим! Тебе самому представляется право избрать то или другое—решай! Это—требование шариата,—закончил Супа.

По толпе прошел ропот негодования. Всех возмутил жестокий, несправедливый приговор тройки. Многие не смогли удержать подступивших слез, послышались всхлипывания. Более смелые вслух высказывали свое негодование.

— Я не согласен ни с тем, ни с другим, молдоке, потому что ваше решение неправильно,— ответил Эшим.

На его спину опустилась плеть молдо.

— Это произвол! Вы же сами говорили, что Керенский освободил народ от царского гнета! Где же справедливость?! — крикнул кто-то в толпе.

— Замолчи! — раздался гневный голос молдо, подобно острию кинжала вонзившийся в сердце каждого. Толпа притихла.

Погруженный в мрачные думы, Бектурган стоял молча, опершись на посох и низко опустив голову. Он даже не услышал грозного окрика молдо.

— Я не хочу брать греха на свою душу. Убей меня, если хочешь! Чем моя жизнь дороже жизни Исы? — хрип-

лым, дрожащим голосом сказал Эшим и швырнул кетмень в сторону.

Бывают же такие сильные духом люди! Ни один мускул не дрогнул на лице Исана. Расстаться с жизнью ему, казалось, так же легко, как перейти из одной юрты в другую. Он окинул взором собравшихся и обратился к ним со следующими словами:

— Граждане, народ! Я не прожил и двадцати лет. Совесть моя чиста, как материнское молоко. За что же я должен умереть?.. Я обессилел от голода и не мог работать. Но вором я никогда не был! Раз ты решил меня убить, так убивай сам! Пусть никто не мучается из-за меня! Пусть тебя утешит моя кровь. Придет время, и сам бог накажет тебя за твои злодеяния!

— Замолчи, собака! В куски изрублю!

— Кровопийца! Свари меня, ешь! Скорей! Смерть от смерти ничем не отличается. Даже злейший враг не позволит себе издеваться над побежденным! Да проклянут тебя духи твоих предков!

Раздался пронзительный, душераздирающий крик женщины:

— Айланайын молдоке! За что ты хочешь убить Ису? В чем он провинился? Разве он не может отработать за чашку толкана? Не убивай его, молдоке!

Женщина протиснулась сквозь толпу и со слезами бросилась в ноги молдо.

Невозможно передать, каким жалобным голосом умоляла бедная женщина, чтобы тройка смилостивилась над Исаном. Она валялась в ногах поочередно у каждого члена тройки. Но молдо был неумолим.

— Уберите эту женщину! — крикнул он.

— Единственная моя надежда! Как я буду жить без тебя!—заголосила женщина, вырываясь из цепких рук джигитов молдо. Изодранное платье обнажило ее исхудалое тело.

Слезы близкого человека растрогали мужественного Исана:

— О народ! Дайте мне взглянуть на свою сестру, обнять ее в последний раз...

Толпа молчала. Никто не осмелился поднять головы.

— Ты будешь убивать или нет?! Закапывайте тогда обоих! — послышался возглас.

— Нет, не буду! Я не хочу его убивать!

— Эшим! Айланайын друг мой, не умирай! Ведь не ты меня убиваешь! Прошу, не мучай меня. Покончи со мной одним ударом,— просил Иса. Он сел у самого края страшной ямы.

— Нет,—ответил Эшим,—моя жизнь не дороже твоей! Чем принимать грех на свою душу, лучше я умру вместе с тобой. Мы вместе провели детство, вместе и костьми ляжем! Пусть наши сердца вместе перестанут биться!

— Если ты умрешь, я и на том свете с тобой не помирюсь! Слышишь? Если ты мне верный друг,— не мучай! Руби скорей! Только убей с одного раза! И не забывай обо мне. Расскажи правду всем, кто меня вспомнит. Закажи коран за упокой моей души...

— Сын мой!.. Айланайын!.. Никто тебя не забудет! — крикнул Бектурган и, подняв свою палку, гневно потряс ею.—Я останусь верным рабом творца, создавшего твое сердце! Проклятие тем, кто отнимает у тебя жизнь!

У Эшима голова шла кругом, он растерялся, почувствовал вдруг, как теряет рассудок. Ему хотелось настоять на своем, а это значило — умереть самому. С другой стороны, мозг сверлили слова друга: «Я и на том свете с тобой не помирюсь! Слышишь?..»

— Не мучай ни себя, ни меня! Быстрей, друг мой, ну! — настойчиво упрашивал Исан.

Эшим схватил кетмень.

— Эх, жизнь проклятая! — крикнул он и, не помня себя, занес кетмень над головой друга. Огонек безумия сверкнул в дико раскрытых глазах Эшима. Он окончательно потерял отчет в своих действиях. Предсмертный крик и глухой удар кетменя заставили толпу охнуть и зажмурить глаза.

Плечи обезглавленного Исы вздрагивали, точно крылья подбитой куропатки...

IV

Хлеборобы, исполосовав плугами покрытое бархатной зеленью поле, распрягли волов и расположились отдохнуть в тени деревьев. Подошел Бектурган и сел неподалеку от них. Рядом на лужайке паслись домашние гуси. Пощипывая молодую травку, они, переваливаясь, ша-

гали друг за другом длинной цепочкой, точно караван верблюдов. В арыке плавали утки. Вытянув длинные шеи, они опрокидывались вниз головой, доставая со дна какой-то корм. Вдруг они принимались гоняться, отнимая друг у друга добычу. Убегая от преследователей, утка старалась быстрее проглотить застрявший в горле кусок. Если это ей не удавалось, то погоня продолжалась до тех пор, пока сильная не отнимала добычу у слабой. Сидевший на берегу арыка Бектурган с интересом следил за хлопотливой возней птиц. Вот она — борьба за жизнь! Забыв про усталость, он углубился в думы. Вспомнились некоторые шалости, которые он позволял себе в юности. Бектурган не забыл еще вкуса утиного и гусиного мяса! От далеких воспоминаний у него даже слюнки потекли. Стайка уток подплыла к самому берегу. Бектурган взмахнул палкой. Испуганные птицы, крякая, взмахивая крыльями, разлетелись в стороны.

«Сотворил бы бог человека наподобие утки,— думал Бектурган.— Тогда люди нашли бы себе пищу в любой лужице, не было бы голодных. И питались бы мы с Омурбеком одними цветочками... Не знали бы никаких забот. Так бы и жили, пока не отрезали бы нам головы и не бросили в котел... Да, сильные проглатывают слабых, как змеи. Почему так устроен божий свет? Нет, не должно быть так. Человек родится для счастья! Но лучше смерть, чем жизнь без радости и счастья!..»

Посидев и поразмыслив, Бектурган, наконец, поднялся и отправился дальше. Он шел, стараясь не обращать внимания на трупы умерших от голода, которые иногда попадались вдоль дороги. «В один из дней и меня постигнет та же участь»,— думал он. Бектурган вспомнил своего маленького Омурбека, и ему стало больно от мысли, что после его смерти сын останется сиротой. Вспомнился и старший сын Исман, работавший батраком у бая Чыргы. «Дожить бы мне до того счастливого дня, когда оба сына будут вместе. Тогда и умереть не страшно».

Где-то в стороне громко крикнула ворона. Бектурган от неожиданности вздрогнул. Ворона, взмахивая крыльями, испуганно косилась на труп женщины, распростертый недалеко от дороги. Бектурган присмотрелся и понял, что напугало мрачную птицу: умершую мать тормошил за грудь ребенок. Бектурган подошел, посмотрел в лицо,

тронул окоченевшую руку и невольно отшатнулся — он узнал женщину, с которой встречался у ручья неподалеку от юрты бессердечного бая. Нагнувшись, Бектурган поднял ребенка. Голодный мальчик прильнул к старику, открыл ротик, пытаясь найти материнскую грудь.

— Эх, жизнь! Несчастная, она не ошиблась! — со вздохом сказал Бектурган. Он вспомнил последние слова нищей: «Зовут меня Айша. Если больше не встретите меня, то прочтите молитву за упокой моей души». Присев, Бектурган пожевал молотое толокно и стал с языка кормить ребенка. Пососав немного, ребенок стал засыпать. Тогда Бектурган положил его на землю и подкопал палкой промоину высокого берега реки. Затем собрал и перетащил к промоине кучу камней. Закончив приготовления, он сел около умершей и пошевелил губами.

Бектурган—человек неграмотный. Откуда ему было знать слова молитвы, которую читают на похоронах! Поэтому он тут же сочинил молитву сам:

— О всемогущий! Устрой душу странницы Айши в раю! О мать земля сырая! Избавь несчастную женщину от мучений, облегчи ее участь в могиле... — Пошептав эти слова, он опустил тело покойницы в промоину.

«Однодневному знакомому продолжай кланяться тысячу дней». Этот обычай предков Бектурган выполнил. Оставив свой посох у свежей могилы, он отсчитал сорок шагов и вернулся назад. Затем сгреб руками оставшуюся вокруг могилы землю, вновь отсчитал сорок шагов и трижды прочитал давно заученную короткую молитву «Кулкувалло». Воздев руки к небу, он провел ладонями по лицу и бороде:

— Оумин.

Исполнив свой долг, Бектурган бросил прощальный взгляд на свежую могилу, возникшую на этом пустынном, неприветливом месте, и отправился своей дорогой...

Подойдя к речке, он подоткнул за пояс полы халата и, готовясь перейти на другой берег, постоял, выбирая удобное для переправы место. Через некоторое время он уже шел по воде, одной рукой опираясь на палку, а другой придерживая оттопырившийся у груди халат. Наступив на острый камень, он поранил палец на ноге и от сильной боли невольно остановился. Боль утихла, и он снова зашагал...

— Эй, стой! Стой! — закричал кто-то сзади, едва он ступил на берег. Бектурган остановился. Оглянувшись назад, он увидел, что его догоняет верхом на неосёдланной гнедой кобыле старший сын Митрия. Бектурган испугался. Он с тревогой ждал приближения верхового, о чём только не передумав за эти секунды. «Немало несчастных перебил этот байский сын! Видно, очередь за мной!—решил Бектурган и тут же подумал:—Нет, пусть только тронет, я ему не спущу!»

Байский сынок гнал свою кобылу во всю прыть, не боясь, что та может споткнуться о камни и, упав, придавить седока. Не переставая хлестать кобылу камчой, он подскакал к Бектургану и начал напирать на него грудью разгорячённой лошади.

— Ой-бой! Что тебе надо? Не трогай бедного старика! Ведь я тебя знаю, ты сын бая Митрия!—обратился Бектурган к седоку, как старый знакомый.

— Вор! Ты вор!—кричал сын Митрия и, взмахнув длинной плетью, обвил её концом ногу старика. Он потянул плеть, и Бектурган запрыгал, как спутанный конь. От удара у старика заныли кости, но вдруг он почувствовал прилив сил.

«Смерть? Нет, я сам его убью!»—Бектурган поднял палку, крепко сжал её в руке, принял оборонительную позу...

Парень не унимался. Горяча коня, размахивая плетью, он наскакивал на старика, пытаясь ударить его снова. Но опытный в таких делах старый беркут опередил: взмахнув палкой, он с силой опустил ее на своего противника. Тот с криком «Мама!» свалился с лошади. Разъяренный Бектурган кинулся на недобитого врага, но его левая рука точно приросла к оттопырившемуся чапану. Это сковывало движения. Воспользовавшись замешательством противника, парень вскочил и с ревом побежал прочь. Протяжный свист, раздавшийся позади Бектургана, заставил его опомниться. Ему показалось, что кто-то ухватился за его палку. Повернув голову, Бектурган увидел таратайку. Мужчина лет тридцати, приветливый с виду, передав вожжи сидевшей рядом с ним женщине, спрыгнул с таратайки. Это были русские.

Бектурган встретился глазами с женщиной и опустил голову. Мысль о том, что он мог совершить убийство,

привела его в замешательство. Перепуганный сын Митрия стоял невдалеке, еле переводя дух от пережитого страха. Мужчина подошел к нему, спросил, что тут происходит и, осуждающе посмотрев на Бектургана, укоризненно покачал головой.

— Ой-бой! В чем моя вина? За что он стал избивать старика?— спросил Бектурган.

— Ты, старый человек, зачем украл у него гуся?

— Нет, бай, я ничего не украл. Я нищий,— ответил Бектурган, бросив на незнакомца жалобный взгляд. Сын Митрия сказал незнакомцу что-то на русском языке и, подойдя к Бектургану, показал пальцем на его оттопыренную пазуху.

— Эй, старик,— обратился к нему незнакомец,— почему ты спрятал чужого гуся к себе за пазуху?! Лучше бы попросил, чем воровать...

Бектурган ничего не ответил. Он бросил палку и распахнул ветхий чапан. За пазухой у него лежал исхудавший ребенок, еле шевеливший своими тоненькими ручонками.

— Вот он, гусь! Но я его не украл! Он лежал, прильнув к груди умершей матери. Я его подобрал. Хочешь— бери, уступлю тебе,—сказал Бектурган. Вид ребенка был до того жалок, что незнакомец невольно отшатнулся. Сидевшая в таратайке женщина сердито сказала что-то на русском языке и подбежала к Бектургану. Старик не понял ее слов. Но для него было ясно: она не хочет ему зла. Она взяла ребенка на руки и опустилась с ним на землю. Сын Митрия, молча наблюдавший за этой сценой, вдруг вскочил на свою кобылу и умчался прочь.

Тем временем женщина, пошарив в своих вещах, достала кусок какой-то ткани, положила на нее ребенка, затем перевернула его несколько раз с боку на бок, заглянула в ротик и, тщательно запеленав, вернула малыша Бектургану.

— Оказывается, ты хороший человек,—сказала она.— Он не умрет, будет твоим сыном.—Женщина вернулась к таратайке и достала буханку хлеба:—Возьми.

Незнакомец, молча стоявший возле них, достал из кармана пачку денег и протянул Бектургану. Растерявшийся старик смотрел на своих благодетелей, ничего не

понимая. Улыбнувшись ему на прощание, незнакомцы взобрались на таратайку и покатили дальше.

— Они, видимо, Кыдыры! Настоящие Кыдыры!—прошептал он, провожая взглядом удалявшуюся таратайку.— Мы будем жить! Будем жить!—повторил старик, целуя ребенка. Он все еще не верил неожиданно привалившему счастью. Повертел в руке пачку денег, сунул ее за пазуху.

— Не ты ли принес счастье?—спрашивал он ребенка.

V

Бектурган проснулся рано, чуть занимался рассвет. Он вышел из шалаша, уселся на огромный камень, похожий на опрокинутый котел, и ждал восхода солнца. Серые тучи, застывшие над его головой, все больше светлели и вдруг засветились золотом утренней зари. В небе будто загорелся огонь и заклубился дым, оно раскалялось все больше и больше и, казалось, вот-вот превратится в сплошную огненную массу... Но когда солнечные лучи озарили седые вершины гор, как бы отчеканив их золотом, тучи стали грязно-серыми, а затем приобрели цвет пепла. Эта серая пепельная масса, от которой теперь повеяло холодом, исчезла за хребтами.

Одинокая фигура Бектургана, сидевшего на камне с задумчиво опущенной головой, напоминала беркута, который только что вытащил голову из-под крыла. Подобно высматривающей добычу ловчей птице, он выпрямил голову, осмотрелся по сторонам и, поднявшись с камня, отряхнулся. Теперь он своим видом напоминал проснувшегося после крепкого сна и хорошо отдохнувшего баарчина.

— Атаке! Вы живы, здоровы? — услышал он голос Исмана, своего старшего сына. Старик несказанно обрадовался.

— Дорогой мой! Где ты задержался? Эти десять дней показались мне десятью годами. В голову полезли мрачные мысли: не убили ли его, думаю, какие-нибудь подлецы... Да, суйунчу! Поздравляю тебя еще с одним маленьким братом. Да и деньжонки у нас завелись,—сообщил Бектурган приятные новости.

— Что, что?.. Какой брат?.. Откуда деньги?.. С вас тоже причитается суйунчу! В Пишпек приехал человек по имени Болчайбек[1]. Он собирает около себя всех бедных, обездоленных и оказывает им помощь. Я там встретил Акыша. Очень интересно, атаке. Теперь мы с голоду не умрем. Ну, идемте же, покажите вашего сына.

Сердце Бектургана наполнилось радостью: будто вновь ожил и загорелся совсем было потухший светильник, озарявший его жизнь.

— Кто же этот человек по имени Болчайбек, русский или киргиз? И видел ли ты его сам?

— Видел, ата, своими глазами. Очень ласковый, приветливый человек. Голова не бритая. Но русский он или киргиз, никто не знает. Слышал, как он говорил по-киргизски: «Не ходите, не ходите...»

— А куда он не велит идти?

Исман почувствовал, что знает больше отца, хотя и сам плохо понимал, что творится вокруг.

— Очень интересно, ата,— продолжал Исман, не найдя ответа на вопрос отца.— Там их двое: одного зовут Эсер, а другого—Болчайбек. Один из них, говорят, приехал не то от царя, не то от Керенского, и каждый клонит народ на свою сторону. Когда к народу вышел Болчайбек, все закричали: «Ура-а!». А это, оказывается, значит: «Мы идем за тобой». Я стоял рядом с Акышем и тоже кричал: «Ура-а! Ура-а!..»

Разговаривая таким образом, они уже подходили к шалашу.

— Табыш, Табыш! Ну, улыбнись, что ли!—послышался из шалаша голос Омурбека.

— Оказывается, у вас и в самом деле есть еще один сын! Пусть тогда фрукты, которые я несу от дунганина, будут жентеком,— сказал Исман, принимаясь развязывать узелок. Омурбек, услышав голос старшего брата, с криком «Байке, байке!» выбежал из шалаша с ребенком на руках. Исман с отцом подходили уже к порогу.

— Вот он,— сказал Бектурган. Исман обнял Омурбека, расцеловал сначала его. потом и новорожденного брата.

— Значит, дела наши поправляются? Как его зовут?

---

[1] Болчайбек — искаженное от большевик.

— Зовут его Табылды... Отец назвал его Табылды-батыр,— ответил Омурбек.

Исман, все еще не выпуская своих меньших братьев из объятий, взглянул на отца.

— Атаке, почему у вас слезы на глазах? Чем вы расстроены?

— Вот уже несколько дней, как у меня ноет все тело, а голова будто налита свинцом,— ответил Бектурган. Давно он почувствовал недомогание, но все крепился.

— Вы теперь не болейте, атаке. Я ухожу от хозяина и иду к Болчайбеку. Верю, он и нам поможет,— сказал Исман. Взглянув на ребенка, он улыбнулся:—Табыш, Табыш! Ие, ие!.. Смотрите, он смеется! Ата, чей это ребенок?

Бектурган провел рукой по бороде и посмотрел в сторону Токмака:

— Я его нашел. У него нет другого отца, кроме меня, и нет братьев, кроме вас. Он мой самый младший сын. Этот мальчик принес в наш дом счастье. Да пошлет ему господь долгих лет жизни. Он всегда будет со мной. Теперь войди в шалаш и полюбуйся, сколько у нас денег.

Бектурган достал спрятанный в изголовье детской колыбели сверток и протянул его Исману.

Развязывая сверток, Исман с улыбкой взглянул на отца:

— Вспомнили привычку прошлых лет?.. У кого стянули?

— Нет, сынок... Ты слышал когда-нибудь, чтобы я говорил неправду? Нет? Так знай: я уже давно перестал прыгать через пеструю нитку.[1] Да, в юности меня знали как грабителя. Тогда я, будучи лихим наездником, действительно совершал ночные набеги, показывая при этом свое молодечество. Эта пора давно отошла. Воровство нынче считается самым постыдным делом, и я никогда больше не вернусь к старому. Нет, сынок... Каких только ошибок мы не делаем в юности!—закончил старик и рассказал о приключении, в результате которого у него в руках оказалась пачка денег.

---

[1] Это выражение связано с древним обычаем и означает: я уже давно не совершаю нечестных поступков.

— Да, разные люди живут на свете,—задумчиво сказал Исман.—Одни готовы нищего убить, другие, наоборот, жалеют, помогают, дают деньги... Оказывается, и среди русских есть много хороших, даже, можно сказать, святых людей. На эти деньги можно купить целый пуд муки. Давайте отправимся в Пишпек. Пуда хлеба нам хватит на полгода. А прожить нынче полгода — это не шутка.

Бектурган чувствовал себя очень плохо и слушал Исмана рассеянно. Его мутило, от сильного головокружения он едва держался на ногах. Нащупав свой пульс, старик покачал головой: болезнь скрутила его так сильно, что он не мог уже скрывать ее от сыновей.

— Сын мой, сбрей-ка мне волосы. Похоже, я не скоро оправлюсь от этой болезни. Должно быть, у меня тиф. Эта болезнь прилипчивая, будьте осторожны. Станете ухаживать за мной да еще заразитесь!.. Нет, подождем пока с бритьем. Что-то я совсем плохо себя чувствую,— пожаловался Бектурган.

Исман собрал всю одежду и тряпье, устроил постель и уложил отца.

— Атаке, не от упадка ли сил вы заболели?—заметил Исман.

— Нет, сынок, у меня сильный жар. Когда покидают силы, их не легко восстановить—нужно питаться маслом, мясом. А от жара у нас есть другое средство... Если бы ты смог доставить меня к батракам в Шор-Добо... Туго придется нашим ребятишкам, если дунганин не отпустит тебя и они останутся одни. Дай попить...

С тех пор прошло много дней... В безлюдной степи стоял одинокий, ветхий, облезлый шалаш, напоминавший коптильню. Одни лишь галки летали вокруг, оглашая воздух звонким криком.

К прозрачному ручейку, журчавшему неподалеку от шалаша, на четвереньках полз человек. Не достигнув ручейка, человек припал к земле и замер.

В этот момент на вершине холма, возвышавшегося вблизи шалаша, показался молодой джигит. Он шел, перекинув чапан через руку, тяжело ступая натруженными ногами.

— Ох, жизнь! Неужели я не застал его шалаша и горечью воскликнул он, заметив лежавшего на. Глубоко ловека. Подбежав к нему, он швырнул в сторз с умер- нагнулся и повернул голову человека, с волнени дываясь в безжизненное лицо, седую всклокоченную роду.— Что я вижу!.. Кто это?..— крикнул он громко. Темная кровь сочилась изо рта старика и, стекая по бороде, капала на землю. «Кто этот мертвый старик?»— вспоминал Исман. Но так и не мог припомнить. Опустив голову умершего на землю, он поспешил в шалаш.

— Исман, это ты?—послышался слабый голос, едва он просунул голову в дверь. Исман бросился к лежавшему в постели отцу, обнял его и расплакался.

— Сынок, а куда ушли дети?.. Мне очень хочется есть, нет ли у тебя чего-нибудь?—бессвязно говорил Бектурган.

«Отец, по-видимому, бредит»,—решил Исман. Он не знал, что больной после перенесенного кризиса только что пришел в себя и впервые за много дней открыл глаза.

— Атаке, лежите, пожалуйста, спокойно. Скажите, кто за вами ухаживал? Где батраки? Их прогнал дунганин? Или они перекочевали?.. Кто этот аксакал, который был здесь?

Бектурган еще не совсем пришел в себя и не мог уследить за нитью вопросов.

— Сынок, ты меня, что ли, спрашиваешь? Укочевали они или нет?.. Я ничего не знаю. А сам-то ты где с утра пропадал?..

— Атаке, полежите спокойно. Вы, верно, бредите. Тринадцать дней я не был дома. Я устроил ребят в Пишпеке. Там они очень... — Исман, решив не беспокоить больного отца, внезапно умолк.

Бектурган пристально смотрел на сына, силясь что-то припомнить, и снова заговорил:

— Тринадцать... Ты говоришь, тринадцать дней?.. Ты устроил ребят? Неужели я так долго болел? А не утром ты ушел из дому, Исман?

— Нет, ата, я оставил вас утром тринадцать дней тому назад и только сейчас вернулся.

— Ой-ой, вот это да! То, что, казалось, было утром, оказывается, произошло тринадцать дней тому назад! Я все время думаю, что ты ушел сегодня утром. Выходит,

— Да, р[illegible]ас пришел в себя. Тринадцать дней!.. Кто же зал Исман, [illegible]живал эти тринадцать дней?.. Да, да!.. Хоророт, жале[illegible]. Ведь за мной ухаживал мой бедный Джолдусреди рус[illegible]. О, куда легче выздоравливать, чем болеть этим [illegible]ым тифом! Как только болезнь тебя покидает, тут же приходишь в себя, глаза широко открываются. А вот как ты переносил болезнь — ничего не остается в памяти. Наконец-то я пришел в себя, сынок! Скажи, куда ушел мой Джолдубай-аке?

О том, что Джолдубай скончался, Исман решил не говорить отцу. Налив из ведерка джармы, он подал ему чашку и сказал:

— Аксакала Джолдубая я никогда в жизни не встречал. Кто он такой? Когда он сюда приехал?

Бектурган выпил джармы и, отставив чашку, начал:

— Сынок, эту джарму варил тот добрый старик, о котором мы сейчас говорим. Я его только сегодня видел здесь и успел обмолвиться с ним двумя—тремя словами. У него воспаление легких, что ли, он еле ходит. Позови его, пусть попьет джармы, пока она не остыла. Таких людей, как Джоке, теперь редко встретишь. Словно мед капает с его языка, когда он говорит. Щедрый, как Атантай, он ничего не пожалеет, чтобы выручить человека из беды. Джолдубай старше меня лет на двадцать — двадцать пять, но все еще крепкий, как кованое железо... У прежних людей кости, видимо, сварены из стали. До последней минуты своей жизни эти люди сохраняют силу и энергию. А смерть приходит к ним так неожиданно, что они и не замечают ее. Позови его сюда, сынок!

Исман стоял, опустив голову, молча уставившись невидящими глазами в землю.

— Почему ты молчишь? Отчего насупился? У каждого есть своя доля в жизненных благах. Пусть и он ее получит. Когда эта доля исчерпается, человек умирает... Зови!

— Атаке, — едва слышно ответил Исман, — у Джолдубая-аке эта доля уже исчерпана. Его душа находится в руках бога.

— Как?.. Как в руках бога?.. Его доля уже исчерпана?.. Ведь он только что вышел из шалаша!.. Помоги мне, пожалуйста, выйти наружу. Где он, мой верный друг?

Взяв отца под руку, Исман вывел его из шалаша и усадил рядом с безжизненным телом Джолдубая. Глубоко опечаленный Бектурган долго сидел, не сводя глаз с умершего друга.

— Джоке, дорогой Джоке! Твое бесстрашное сердце, не боявшееся даже огня, покорилось смерти. О немилостивый бог! За что подвергаешь нас мукам? — Бектурган дрожащими руками обнял голову Джолдубая. Скупые старческие слезы скатились по исхудалым щекам убитого горем старика.

VII

Время перевалило за полночь. В камышовых зарослях на краю болота полыхали огненные язычки костра. Из небольшого закопченного ведерка, висевшего над огнем, поднимался легкий пар — в нем булькала похлебка из толченого ячменя.

Бектурган лежал у костра, опершись на руку. Он не сводил глаз с ведерка. Когда похлебка сварилась, старик с трудом поднялся и крикнул:

— Исман! Эй, Исман! Похлебка готова, не надо больше собирать курай!

К костру подошел Исман, снял ведерко, разлив похлебку в две чашки, сказал:

— В город мы придем еще до рассвета. Как вы себя чувствуете? Вид у вас неважный.

— Нет, дорогой, я себя чувствую хорошо, а тебя вот замучил. Нелегко нести на себе живые кости. Ты отдохни, поспи малость. Сон — это здоровье человека.

— Нет, отец, я не усну, пока мы не доберемся до города. Меня торопит предчувствие чего-то хорошего, что ждет нас впереди... А вы не тяжелый—не больше двух пудов. И несу я вас всего два дня. Вы же носили меня не меньше двух лет. Верно? Своим трудом я еще не отплатил за материнское молоко. Только теперь мне предоставлена эта возможность. Нести вас осталось не больше одного дня. А уж дальше заботу о нас возьмет на себя Болчайбек.

Костер угасал. Поднявшийся предутренний ветер раздувал серую золу. Исман привязал к поясу кружки, опустившись на корточки, подставил спину отцу:

— Садитесь, ата!

— Сынок, ты лучше поддерживай меня, я попробую идти сам. А то, как навьюченный мешок с солью, я надавил твои плечи. Если бы не эта тяжелая обуза, ты бы давно был у цели, — говорил Бектурган, делая усилие, чтобы подняться на ноги. Но его ноги, еще не окрепшие после перенесенной болезни, не подчинялись ему.

— Эта слабость после тифа приносит гораздо больше неприятностей, чем сама болезнь. Так болит тело, будто с меня сдирают кожу, — жаловался Бектурган, опираясь рукой о плечо сына.

— Атаке, вы все равно не сможете идти. Садитесь-ка лучше на вороного кунана,—пошутил Исман, сажая его себе на спину. — Смотрите, вы же совсем легкий, не тяжелее моего халата. Понукайте лучше вороного кунана в бока, если он начнет идти лениво, — продолжал шутить Исман и, расхохотавшись, быстро зашагал.

Бектурган молчал. Он приник к спине сына, положив голову ему на затылок.

Закаленный в физическом труде, Исман был крепок. Его коренастое тело состояло как будто из одних костей и сухожилий. Бектурган действительно весил едва ли больше двух пудов. И все же человек — не из железа, всякая ноша утомляет его. Но Исман скрывал от отца усталость. Когда он останавливался, чтобы перевести дух, то говорил:

— Не очень измучились, атаке? Отдохните немного.— И, бережно опустив отца на землю, нарочно напевал себе под нос, тайком смахивая с лица пот.

— Если отдохнули, атаке, поедем дальше, — говорил Исман.

Бектурган чувствовал, что сыну приходится напрягать последние силы. Но старался делать вид, будто не замечает этого. Чтобы Исман почаще отдыхал, говорил:

— Сынок, ты почаще останавливайся. Хотя я еду верхом на человеке, как китайский богдыхан, ты все же не забывай, что я еще очень слаб.

Просьбу отца Исман не забывал. Ничего, кроме радости, не было на его сердце. Перед ним стоял образ Болчайбека. Он думал о том, как бы скорее добраться до города и встретиться с этим человеком. «Будет возможность — может, поступлю к нему в джигиты». Эти мечты подбадривали его.

— Если будем здоровы, сегодня обязательно доберемся до наших ребят. Отдохните хорошенько, — сказал Исман, опуская отца на землю. «Утомился мой сын», — решил Бектурган и пожалел его:

— Измучил ты из-за меня свою молодую душу, сынок. У нас осталось целое ведерко толокна. Давай не будем так спешить. Этот джигит по имени Болчайбек... он ведь тебя еще не знает. Думаешь, так и выделит тебе что-нибудь?.. Сказать правду, из всего, что ты рассказывал о нем, я до сих пор ничего не понял.

Исман громко расхохотался.

— Положитесь на меня, атаке, и не ломайте себе голову. Я тоже сперва ничего не понимал, все приставал к Акышу, чтобы он мне растолковал. Теперь-то я—как слепой, которому дали палку в руки. Вот увидите своими глазами, что он сделал для таких, как мы, — все поймете... — Исман насторожился: — Слышите? Позади нас стучат колеса! Если бы то были добрые люди...

Бектурган не надеялся, что его подвезут, но не хотел сомнениями огорчать сына.

— Да, неплохо было бы...—согласился он.

Скрипя давно не смазанными колесами, их нагнала телега.

— Эй, ты кто будешь? — спросил Исмана по-киргизски возчик первой повозки.

— Мы — турпанчи, дорогие мои! Старик-отец только что поднялся после болезни, я его на себе несу. Не поможете ли нам?

Телеги остановились, послышался русский говор. Кто-то чиркнул спичкой и, увидев исхудавшего, едва стоявшего на ногах Бектургана, предложил:

— Идите, садитесь на телегу. Наверно, за помощью идете?

Исман посадил отца, влез на телегу сам и ответил:

— Да, дядя, к Болчайбеку идем. Не знаете, он не уехал?

Человек, зажигавший спичку, прыснул:

— Нет, этот человек никуда не собирается уезжать. А от кого ты узнал его имя?

— Я этого человека сам видел несколько дней назад. В Пишпеке живет наш знакомый Акыш. Он и назвал мне его имя.

Незнакомый джигит еще раз засмеялся и заговорил на языке Исмана:

— Болчайбек — это не его имя. Его имя — Власов. А Болчайбек — это название партии. Этот человек прислан сюда из Москвы для выполнения заданий партии. А нам этот человек поручил привезти хлеб для голодного населения, — объяснил Исману незнакомец и, обратившись к кучеру, сказал:

— Давай, погоняй быстрее!

Видимо, ему хотелось показать, что он тут самый старший.

Бектурган не знал, что обозначает слово «партия». Ему очень хотелось спросить, но он так и не решился. «Ладно, приедем в город — там все узнаем», — утешил он себя. Исман же с видом сведущего в таких делах человека старался поддержать беседу с незнакомцем.

— Кем вам доводится Акыш? — спросил тот.

— Он тоже турпанчи, наш родственник.

— Хороший джигит. Он мой подчиненный. Я послал его в Кара-Балты, за хлебом. Четыре дня прошло, как он уехал. Сегодня должен вернуться домой..

— А как вас зовут, дядя?

— Абдраим. Я — уполномоченный по заготовке хлеба для голодающего населения. Каждый день отчитываюсь перед Власовым о своей работе, — объяснил он. — Очень хорошо, браток. Теперь голод вам не страшен. Вас только двое?

— Нет, дядя, у меня еще есть два маленьких брата. Они живут в Пишпеке, в доме, где много таких же бесприютных детей...

— Не зря говорится, что к выздоравливающему больному лекарь приходит сам. Мы едем прямо в тот двор, где находятся ваши ребятишки. Их там хорошо воспитывают... Новые времена пришли — мы теперь хозяева. Да... Тебе в Красную Гвардию надо записаться. А потом станешь коммунистом.

Слова «Красная Гвардия», «коммунист» Исману были непонятны. Но все же он поддакнул:

— Да, да, дядя. Я давно думаю об этом.

Бектургана удивила осведомленность Исмана, и он даже почувствовал гордость за сына.

VIII

... Быстро летели годы.

— Товарищ командир, вам письмо! — доложил красноармеец, подавая пакет.

— Интересно, от кого бы это? За пять лет первое письмо получаю. — Командир торопливо вскрыл конверт. Его окружили друзья.

— И что вас может интересовать в чужом письме? — заметил широколицый брюнет.

— Ничего, пусть. Я прочту всем, тут нет никаких тайн... Самое обыкновенное письмо, — возразил командир и начал читать вслух:

«Уважаемый, самый дорогой моему сердцу брат мой! От тебя я получил уже три письма. И на все три ответил. Но ты в своих письмах ни словом не обмолвился о моих ответных посланиях. Если получишь это письмо, то обязательно сообщи, получил ли посланные мною ответы. Старик, которого ты проводил в Каракол, до сих пор живет там, у зятя. Младшие братья твои находятся в интернате и уже стали большими. Беженцы почти все вернулись в родные места. Государство снабдило их скотом и сельскохозяйственным инвентарем, обеспечило жильем. Они теперь живут зажиточно. Не получая от тебя писем в течение двух лет, мы сильно беспокоились. Наконец, дождались их, и были им так рады, будто встретили тебя самого. Пиши чаще. Все, что стало известно о тебе, я сейчас же сообщу твоему отцу. До свидания. С пожеланием тебе доброго здоровья остаюсь твой ага Акыш, сын Алгазы. 1923 год, город Пишпек».

Прочитав письмо, Исман тут же сел писать ответ.

«Уважаемый Акыш! Письмо твое получил. Я в курсе всех семейных дел. Что касается меня самого, то я жив и здоров. Вот уже год как служу здесь командиром. Мы ведем борьбу с басмачами, которые лишают покоя здешнее мирное население, и успешно их ликвидируем. За усердную службу я награжден правительственными грамотами и подарками. Писем твоих я не получал. Это, очевидно, потому, что мы часто переезжаем с одного места на другое. После ликвидации белогвардейцев Анненкова я участвовал в бухарской кампании. Здесь я нахожусь всего четыре месяца. Эх, Акыш!.. Я теперь только узнал, что такое

жизнь... За четыре года службы среди русских товарищей я стал в совершенстве владеть русским языком. Много в моей жизни интересного, но нет времени, чтобы описать все подробно. Сейчас выступаем против басмачей. Посылаю на память свою фотокарточку. Покажи ее и моим братишкам. Напиши моему отцу. Кланяйся жене. Пришли мне фотокарточки Омурбека и Табылды. Я очень соскучился о вас. Если буду жив-здоров, то через два месяца возьму отпуск и приеду к вам...»

Вложив письмо в конверт и опустив его в почтовый ящик, Исман отправился в штаб. Вскоре он вернулся оттуда.

— По коням! — скомандовал он своему подразделению.

Под вечер они въехали в тесное глубокое ущелье. Исман остановил отряд, подозвал к себе пятерых бойцов:

— Незаметно поднимитесь вверх на самую вершину горы. Оттуда будете наблюдать. Басмачи должны появиться из ущелья, но они могли изменить план наступления. Осмотрите все окружающие горы. Увидите что-нибудь подозрительное, немедленно посылайте связного. Лошадей оставить здесь.

Едва разведчики скрылись в кустах, как застрекотали винтовочные выстрелы, засвистели пули. С гор покатились камни — их сбрасывали засевшие в скалах басмачи. Выстрелы, свист пуль, грохот падающих камней — все смешалось в сплошной гул. Испуганные кони заметались по ущелью.

Исман не терял присутствия духа.

— Не тратить зря ни одного патрона! Миррахим, Болотбек! Быстро отвести коней вниз, за скалу. Остальным спешиться и замаскироваться. Дорогу держать под прицелом. У басмачей нет другого пути — а тут мы их не пропустим.

Услышав конский топот и увидев удаляющихся лошадей, басмачи решили, что отряд отступил.

— Удирают! — кричали басмачи. Их голоса становились громче, явственнее. Скрытые за скалистым гребнем, они подходили к засаде. Исман вскарабкался на утес и осторожно выглянул из-за куста. Разглядев перебегавших между камней басмачей, он быстро оценил, что силы про-

тивника значительно превосходят его отряд. Басмачей было не меньше четырехсот. Донесение Файзулы, уверявшего, что в стане врага не больше шестидесяти человек, оказалось ложным, предательским. Отступать было поздно. Исман принял решение: истребить врага до захода солнца, пока еще светло и можно вести прицельный огонь. Узкий проход, к которому шли басмачи, благоприятствовал осуществлению задуманного плана. Здесь никто не мог пройти, минуя обстрела. Хотя в отряде Исмана было всего девятнадцать бойцов, он верил в успех смело задуманной операции.

— Головной отряд врага подпустить к скале, — отдавал он последние распоряжения. — Без моей команды огонь не открывать!

Басмачи шли смело, не подозревая о засаде. Когда они приблизились к скале, за которой залегли красноармейцы, Исман дал первый выстрел. И тотчас раздался залп. Ущелье огласилось воплями раненых. Басмачи в панике заметались, бросились на противоположный открытый склон. Их настигали пули.

— Умрите, но не сдавайтесь! Если попадете к большевикам, они вас не пощадят! — кричал курбаши.

Басмачи, отстреливаясь, пытались отступить, повернуть обратно. Но отряд Исмана быстро перебрался на каменную гряду, с которой открывалось идущее вверх ущелье, и продолжал обстрел метавшегося в панике врага. Склоны гор были усеяны трупами.

Часть разгромленной банды, прячась за обломками скал, подбиралась к каменному хребту, надеясь пробраться через него в соседнее ущелье. Исман распорядился прекратить огонь. Он собрал бойцов. Их осталось семеро.

— Быстро,—командовал Исман,—выйти на самый хребет, под которым прячутся басмачи. Рассеиваться подальше друг от друга. Засевших под скалами басмачей уничтожить гранатами!

Сам командир занял место убитого пулеметчика и, направив ствол пулемета вдоль ущелья, стал ждать дальнейшего развития событий.

Через некоторое время взрывы ручных гранат сотрясли горы. Исман выскочил из засады.

— Сдавайтесь! Иначе все будете уничтожены! Вы попали в окружение!

В ответ кто-то выстрелил в него, но промахнулся. Исман вмиг очутился у своего пулемета и крикнул:

— Огонь!!

Застрочил пулемет. В басмачей вновь полетели гранаты. Бандиты окончательно растерялись — им показалось, что они действительно окружены.

Сраженный вражеской пулей красноармеец, падая со скалы, успел крикнуть: «Товарищи! Стреляйте!» К упавшему бросилась группа басмачей. Раненый привстал, подался вперед и упал грудью на камни. И в тот же миг раздался взрыв — он подорвал на себе последние гранаты. Басмачи в паническом ужасе побежали вниз по склону, бросая оружие.

— Сдавайтесь! Будете разбегаться—всех перебьем!—еще раз крикнул Исман.

Огонь прекратился. Один за другим басмачи выходили из укрытий, поднимали руки.

— Сдаемся! Не стреляйте больше! Сдаемся!—крикнул курбаши.

— Кто хочет жить—не сходите с места!—ответил на это Исман.

— Четверым собрать оружие! Батальону оставаться на месте!—отдал Исман команду. Спрыгнув вниз, он смахнул со лба пот.

— Вы ни в чем неповинны, дехкане. Вас ввели в заблуждение. Кто сдал оружие—выходи сюда!—Исман не спеша свернул папиросу. Его спокойные действия лишний раз убеждали врага в несомненном превосходстве сил его отряда.

— Сколько вас всего? Кто курбаши? Эх, вы! С кем вздумали связываться, а!.. Кто вас этому учил? С огнем не шутят!—закончил он строго.

— Склоненную голову меч не сечет... Сдаюсь, чтобы спасти свою жизнь. Пощади. Я — курбаши. Нас осталось около трехсот человек, а было... больше пятисот... Разрешите пожевать табаку?—Курбаши тяжело дышал.

— Файзула значит вас обманул,—заметил Исман.— Что же, если есть у тебя табак — жуй сколько хочешь. Пулемет будет молчать, не бойся.

— Обманул... Обманул Файзула. Он сообщил, что вас не больше сорока человек,—с горечью признался курбаши, посматривая на алеющий закат.

IX

Стояла осень 1927 года. Золотились поля Чуйской долины... Уборка урожая в разгаре. Бахчи полны арбузами и дынями. Издали казалось, что это лежат, отдыхают овцы. Воздух наполнен стрекотом кузнечиков. Стайки розовых скворцов проносятся над головой. Небо чистое, синее, только над горами клубятся кучевые облака. Белые, пушистые, они похожи на комья ваты...

Спокойны, величавы зеленые горы со снежными вершинами. Они чем-то напоминают женщину в белом элечеке. Среди этой живописной природы ехал всадник. Каряя лошадка лениво перебирала ногами. Всадник то ли разомлел от летнего зноя, то ли был утомлен дальней дорогой—он дремал в седле, склонив голову на грудь.

Лошадь, опустив косматые уши, будто пересчитывала шаги всех своих четырех ног. Вдруг сзади послышался бойкий топот копыт. Карий конь встрепенулся, навострил уши, закусил удила и ускорил шаг.

Едва задремавший в седле старик подобрал поводья, как послышались голоса догнавших его путников.

— Салам алейкум!—приветствовали они.

— Алейкум салам! Далеко ли путь держите, дети мои?—повернув голову, обратился старик к поравнявшимся с ним трем верховым. По морщинистым щекам старика текли слезы.

— Старик, что с вами?—участливо спросил его один из путников — смуглый джигит с длинными усами.— Чем вы опечалены?

Старик по-детски простодушно улыбнулся и, не утирая слез, ответил:

— Эх, дети мои! Радость и печаль всегда делят наши слезы поровну между собой. Я плачу от радости... Много раз за свою жизнь проходил я по этой дороге, много я пролил на нее горьких слез. Мне кажется, что корни этих трав, что растут по сторонам, орошены моими слезами.

— Кто вы такой? И куда направляетесь, ата?—полюбопытствовал один из джигитов.

— Меня зовут Бектурган. В молодости же меня называли Бектурган-вор, Бектурган-батыр. Я еду в Пишпек, к своим сыновьям. Десять лет я их не видел,—ответил старик и почему-то осмотрел тороки с той и другой стороны седла.

— Мой первый сын в Джалал-Абаде. Он работает в исполкоме начальником. У него имеется красный орден. До этого он служил командиром. А орден ему вручил в Москве друг самого Ленина. Этот орден он носит на груди. Такой небольшой орден, красного цвета... Когда я увидел своего сына, то сразу и не узнал... К тому же он стал прихрамывать на одну ногу. Говорит, два раза был ранен в боях. Двух младших сыновей, как я уже вам сказал, не видал давно. Они в Пишпеке, в интернате. Самому меньшему тогда не было и года. А теперь, смотрите, какой стал.—Бектурган вынул из-за пазухи старую картонную обложку. Потом, накинув повод на луку, развернул тщательно завернутую фотографию и, указывая на нее пальцем, пояснил:

— Вот этот—мой старший сын. Это его орден. Это—средний, а это—самый младший. Смотрите! Оба они одинаково одеты. Как вспомнишь печальное прошлое да сравнишь его с новой жизнью, так невозможно удержать слезы, ребята. Теперь вот, не знаю, как мне разыскать их?

— Найдем, аксакал. Ехать остается совсем немного. Не пройдет время, нужное для того, чтобы вскипятить чай, и мы приедем в Пишпек,—заверил один из джигитов.

И действительно, не успели они закончить начатый разговор, как въехали в город.

— Вот здесь, мне помнится, помещался интернат. Едемте сюда,— сказал усатый джигит, сворачивая за угол.—Ну да, я же сказал, что здесь. Вот и интернат!

Бектурган увидел белолицего парня пятнадцати—шестнадцати лет от роду. Парень сидел у арыка и чистил свои ботинки. Видимо, он куда-то спешил и потому не обратил внимания на подъехавших всадников. Бектурган остановил коня и обратился к парню:

— Дорогой мой, скажи, не здесь ли находятся сыновья Бектургана — Омурбек и Табылды?

Парень вздрогнул, вскинул голову и сверкнул удивленными глазами. Он поглядывал то на одного, то на другого всадника, и язык его словно окаменел. Вдруг его красивые губы расплылись в улыбку. Парень радостно похлопал себя по колену и, наконец, ответил:

— Здесь, слезайте! Разве вы не узнали меня?

Бектурган от радостного волнения весь затрясся, по его телу побежали мурашки.

— Сынок, позови кого-нибудь из них. Пусть мои дорогие придут сюда.

Парень, радостно улыбаясь, взял коня под уздцы:— Слезайте, атаке. Вы не узнаете своего сына?

— Ну как же, милый, не узнать своих детей! Хотя и прошло десять лет, я сразу узнаю. У старшего сына под ухом есть родимое пятнышко. О, что-то я начинаю чувствовать слабость во всем теле. Позови их, милый, поскорее!—терял терпение Бектурган.

Отвыкший от родительской ласки парень улыбнулся еще приветливее и, взяв Бектургана за руку, спросил:

— А какое у вашего сына было пятно под ухом? Не такое?— Он повернул голову. Бектурган свалился с коня. Он прижал сына к груди, обливаясь слезами, целовал его в голову и щеки.

— Теперь приведи ко мне Табылды!

Растерявшийся парень стал объяснять отцу:

— Атаке, вот уже пять дней, как наш Табылды уехал в Ташкент учиться. И я сейчас уезжаю туда... Как поживает моя новая мама?

— Какой же ваш сын молодец, аксакал! Оказывается, вы счастливый отец. Пусть хорошо учатся ваши дети. Теперь такое время—время учебы,—сказали на прощанье спутники Бектургана.

— Эй, Омурбек, где ты? Беги скорей, сейчас уезжаем,— кричали со двора интерната ребята. Они уже сидели на телеге и прощались с учителями и воспитателями.

Омурбек крепко пожал руку отцу.

— До свидания, атаке! Исман оставил ваш адрес. Я буду присылать письма.

С этими словами он вскарабкался на выехавшую из ворот телегу и, прощаясь с интернатом, вместе с друзьями замахал рукой.

Бектурган стоял ошеломленный — у него вырвали из рук самое дорогое. Не во сне ли все это происходит? Когда телега с ребятами стала удаляться, он вскочил на коня и догнал ее. Понукая карего, Бектурган долго ехал рядом с телегой, не отрывая взгляда от Омурбека.

— Омурбек, дорогой! Хорошенько смотри за Табылды. Смотри, чтобы его не обижали. Не отпускай его от себя! Поцелуй за меня!

Сбоку болтался белый мешочек, притороченный к седлу. Остановить телегу, чтобы передать сыну гостинец, старик не догадался. Перегнав телегу и оставив ее далеко позади, он отвязал мешочек и вынул из него два бурдюка со сливочным маслом.

— Милый сынок! На, возьми, один тебе, а другой для Табылды. Это ваша новая мать прислала,— передал он гостинец...

X

— Папа, папа!—залепетала Джылдыз, услышав кашель отца. Она выбежала на крыльцо. Положив сверток на ступеньку приступки, Исман поднял свою дочь на руки.

— Ну, зазвени же, мой бубенчик!—говорил он ей, целуя пухлые розовые щеки. Опустив Джылдыз на землю, он развернул сверток, выложил новые игрушки.

У Джылдыз от радости округлились глаза. Как маленький котенок, она принялась возиться с мячиком, игрушечной деревянной посудой... Вдруг Джылдыз бросила все, вбежала в дом и тут же вернулась обратно, ведя за руку мать.

Мама Зоя вышла на крыльцо, хмурая, молчаливая. Перемена в настроении жены не ускользнула от внимания Исмана, но он был целиком поглощен своей дочуркой.

— Погляди, она нашла своих друзей!—сказал он, громко смеясь.—Зоечка, иди к нам, поиграем вместе. Смотри, как наша Джылдыз развеселилась!—продолжал он, обнимая Зою и усаживая ее рядом с дочкой. Приподнявшись и выпрямив голову, он стукнулся обо что-то твердое, но легкое. Исман почесал темя, посмотрел вверх— перед самым его носом висело сочное яблоко. Почему-то вид яблока, спелого, с красными боками, развеселил его еще больше. Он сорвал антоновку, подал ее Зое. На хмурое лицо жены набежала улыбка, но и сквозь нее Исман различил встревоженность.

— Зоечка,—в радостном порыве воскликнул Исман, пригибая к земле ветку, усыпанную плодами,—как хорошо жить без войны! Помнишь, что ты мне рассказывала, когда я раненый лежал в лазарете?

— Помню!

— А что?

— Ты разве забыл?

— Нет, не забыл. Я хочу, чтобы ты рассказала еще раз.

— Те дни я крепко храню в своем сердце. Они, как тавро на камне, не забудутся всю жизнь.

— Ну, расскажи же?

— О чем рассказывать... То, о чем я мечтала тогда, уже осуществилось. Как у этой яблони, и у нас есть плод... наш милый ребенок. Но человек никогда не довольствуется достигнутым счастьем. Ему надо больше... Ты впервые видишь меня хмурой и поэтому удивлен? Но я беспокоюсь не за себя.

— Что случилось?—Исман почувствовал тревогу в словах жены. Зоя молча подала конверт. Исман торопливо вынул исписанный лист и начал читать:

«... Байке! Наш Табылды куда-то исчез... Я теперь только и занят тем, что плачу о нем. Тот, кто их сопровождал, уже уехал обратно. Что случилось с Табылды, не знают даже его друзья...»

Исман задумался: «Так вот отчего расстроилась Зоя!.. Это тревожное письмо...» Тяжелое чувство легло на сердце Исмана, но он постарался скрыть его.

— Ну что особенного могло с ним приключиться?.. Надо запросить телеграммой,— сказал он как можно спокойнее, направляясь к себе в комнату. Зоя взяла дочку на руки и пошла следом. Перед ее глазами встали печальные события из ее прошлой жизни. Она вспомнила, как в 1918 году пропали два ее младших брата. Как она целыми днями разыскивала их и все безуспешно. Вспомнила о том, как приходила плакать на могилу матери...

— Бедная мама! Мало того, что рано овдовела—и сыновей лишилась... Вот и осталась я одна...— Но тут же, спохватившись, она горячо зашептала:—Нет! Я не одна. Со мной мой Исман. Мы испытали с ним все тяготы фронтовой жизни. А моя дочурка Джылдыз? А потом...— Её лицо посветлело, мрачные воспоминания о прошлом рассеялись, перед ней как бы поднялся занавес, за которым открывалась большая, светлая, радостная жизнь.

Зоя подошла к Исману, обняла его за плечи, прижалась грудью к широкой спине:

— Дорогой ты мой!—Она нежно поцеловала мужа в лоб.

XI

Девяносто раз поднимались гири стенных часов. За это время Исман получил от Омурбека пятнадцать писем. Во всех был один и тот же ответ: «Табылды не разыскан». Наконец, Исман решил поехать в Ташкент, чтобы самому навести справки. Он поместил объявления о розыске в газетах «Правда Востока», «Кизил Узбекистон». Но никаких сведений так и не получил.

От тоски по своему младшему брату Омурбек даже похудел. Если на голову обрушится беда, кого только она не согнет! Омурбек потерял всякую надежду на возвращение Табылды. Сообщив отцу печальную весть, Исман попрощался с Омурбеком и вернулся в Джалал-Абад.

Шли дни. Омурбек продолжал учебу на горном факультете Среднеазиатского университета. Учеба ему давалась. Отметки он получал хорошие.

Студенты любили его за веселый нрав, чуткое отношение к товарищам. Он подружил с девушкой Гулай. Прошло немного времени, и их дружба, подобно сосульке, которая незаметно вырастает из мелких капель, превратилась в любовь.

Гулай была гораздо смелее и решительнее Омурбека. Но раскрыть перед ним все, что таилось у нее на сердце, она все же не решалась. Омурбек же полагал, что тайны его сердца Гулай может прочесть по его глазам. При встрече друг с другом их словно пронизывало электрическим током, бросало в жар, и они тотчас стыдливо опускали глаза. Если же случалось, что они день—два не видели друг друга, то оба не находили себе места. Ими овладевало такое чувство, будто они потеряли что-то самое дорогое, самое близкое. И тогда каждый решал про себя: «При первой же встрече я скажу вот так. А в ответ услышу вот что». Они готовились выложить друг перед другом все, что накопилось на сердце. Но стоило им встретиться, как оба забывали о том, что собирались сказать, будто чья-то неведомая рука тут же похищала приготовленные слова. Они принимались говорить о чем-нибудь отвлеченном, и могли говорить без конца, с упоением слушая друг друга.

Иногда Гулай прикидывалась обиженной на Омурбека. Но достаточно было ему приветливо, ласково улыб-

нуться, как нахмуренное лицо Гулай вновь сияло, подобно солнцу в летний день.

— Даже самый твердый камень, даже железо Омурбек способен расплавить своей ласковой улыбкой и пламенной речью,— думала Гулай.

— Какое бы тяжелое горе, какая бы глубокая печаль ни терзали душу, взгляд ее глаз, словно магнит, способен вытянуть из души занозу печали,— думал Омурбек.

При выходе из университета после занятий они как бы невзначай тут же сталкивались друг с другом.

— Ну как, не трудные занятия были сегодня? Покажи, какие у тебя отметки? — начинали они беседу.

Однажды по окончании занятий они, как обычно, шли рядом, просматривая друг у друга тетради.

— Давай вечером вместе готовить уроки,— предложила Гулай.

— Хорошо. Только не заставляй себя ждать. Приходи ровно к пяти часам вечера. Если опоздаешь хоть на пять минут, ждать больше не буду,— согласился Омурбек.

— Нет, будешь ждать. Я знаю, будешь,— улыбаясь, сказала Гулай.

— А вот посмотрим...

Взглянув друг другу в глаза, они улыбнулись и разошлись. Одну из тетрадей Омурбека Гулай унесла с собой. Не известно, нарочно ли он оставил ее в руках Гулай, или она незаметно взяла ее сама. Но только, вернувшись домой, Гулай с любопытством начала ее перелистывать. На одной из начальных страниц она обратила внимание на заглавную букву «Г». Под ней были стихи:

Язык любви не знает слов.
А сердце шепчет: тайну разгадай...
В нем сила — в сердце. Слаб язык.
Что в сердце у тебя, Гулай?..

«Что в сердце у тебя?..» Ты слышишь, как оно бьется?.. Гулай несколько раз перечитала четверостишье. Не побежать ли за ним, не окликнуть ли его? Но почему-то не решилась. Она подошла к зеркалу. Ее бледное лицо покрылось румянцем, карие глаза лучились. Увидев в зеркале свое отражение, она улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. На нее смотрела девушка, похожая на волшебную красавицу Пери. Ей захотелось обнять ее и расцеловать...

Смуглянка Сагыйда, жившая с Гулай в одной комнате, без стука открыла дверь. Гулай от неожиданности вздрогнула, быстро обернулась:

— Ой, как я испугалась! Это ты, оказывается.

— Ты что это, воровством занималась?

— Да,— ответила Гулай и, подбежав к подруге, обняла и поцеловала ее.

— Что ты?.. Что с тобой?..

Гулай тут же сообразила, что поступила необдуманно и, чтобы вывернуться, сказала с притворной обидой:

— Что, тебя уже и поцеловать нельзя?

— Нет, почему? Мы всегда целуемся с тобой, но этот поцелуй необычный.— И, расхохотавшись, подруги пошли умываться. Вернувшись в комнату, Гулай попросила:

— Сагыйда, захвати мне, пожалуйста, ужин из столовой. Нездоровится что-то, голова болит.

Проводив подругу, она раскрыла тетрадь и начала читать короткие записи, над которыми крупными буквами было старательно выведено: «Памятные случаи».

«... Когда мой маленький Табылды заболел, я не отходил от него ни на шаг, как клушка от своего цыпленка. Теперь его нет. Я один. Мне все еще кажется, что он стоит со мной рядом, смотрит на меня своими черными глазами. Я помню его совсем маленьким, он ползал тогда на четвереньках. И вижу, как он подползает ко мне и ласкается.

Но его нет. Он не слышит меня, и я не слышу его голоса. Его образ, который встает в моем воображении, вызывает у меня одни лишь слезы...

Сентябрь, 1927 год.»

«... Получил письмо отца... Оно так на меня подействовало, что я чувствую себя больным и разбитым. «Последний мой сын, ключ нашего счастья»,— пишет отец. Сколько нежного чувства сохранило стариковское сердце к моему бедному брату. Табылды! Табылды!.. Неужели ты ушел безвозвратно? Неужели ни отец, ни братья никогда больше тебя не увидят?..

Декабрь, 1927 год.»

«... Теперь я уверен: Табыша нет с нами, он погиб. Видно, он нашел себе могилу в глубокой реке Салар. Его

нет, нет... Но отец никогда, до самой смерти, не забудет о нем. Вместо любимого сына Табылды у него остались одни лишь слова сожаления: «Так я и не увидел его»...

Январь, 1928 год.»

«... Когда я вижу Г., мое сердце начинает прыгать, как молодой кулун. Ее образ не покидает меня ни на минуту. Для нее я подбираю в уме самые сильные слова, чтобы при встрече сказать ей о своей любви.

Но, к сожалению, я сразу забываю все, как только увижу ее... Что она думает обо мне? Как бы я хотел услышать об этом от нее, хотя могу догадаться и так, без слов...

Март, 1928 год.»

Из всего, что прочла Гулай, больше всего ей понравились те места, которые касались ее. Она решила переписать в свою тетрадку стихи. Делала она это украдкой, прикрывая тетрадь рукой, вздрагивая при каждом шорохе — будто совершала что-то преступное. В комнату тихо вошла Сагыйда. Раскрасневшаяся, смущенная Гулай посмотрела на подругу: нет, кажется, та ничего не заметила.

— Вот тебе ужин, моя Гуль! — сказала Сагыйда, ставя на стол тарелку.— Ведь до сих пор тебя только один человек звал этим именем, Гуль?.. А теперь и я так буду звать. Ладно?— Сагыйда громко засмеялась.

Гулай поняла, что ее отношения с Омурбеком не представляют больше для Сагыйды никакой тайны. Но это не огорчило Гулай, наоборот, ей хотелось, чтобы Сагыйда продолжала говорить.

— Кто же этот человек?— спросила Гулай.

— А джигит, которого ты любишь.

— Какой джигит?

— Будто не знаешь! Да тот самый джигит!..—лукаво поглядывая на подругу, сказала Сагыйда. — Счастливая ты, Гулай! Но до чего же хитрая! Зря таишься, я ведь все знаю...

— Ну, раз тебе все известно, что же, мне нечего говорить!— пошутила Гулай и поспешила замять разговор: — Ну, я пошла в читальный зал. Ты не идешь?

— Нет, не пойду. Я на тебя обиделась,— ответила Сагыйда, отворачиваясь от нее.

— Что же, обижайся, а я схожу. — Гулай подошла к подруге, потеребила ее за волосы и, прихватив книги, направилась к выходу. Сагыйда вскочила с кровати:

— Я же шучу! Я же люблю тебя, Гуль! — Сагыйда догнала подругу и заключила ее в объятия.— Иди, иди, милая, а я приду потом...

Гулай бодро шагала по улице. Настроение было у нее приподнятое. Ей хотелось поскорее увидеть Омурбека. В условленном месте его не оказалось. Гулай прошла дальше, но все оглядывалась назад: «Неужели не заметила?»

— Гуль! Никогда не ищи меня позади, я всегда бываю только впереди! — сказал Омурбек, неожиданно появляясь из-за толстого ствола чинары.

— Ах, разве?..

— Да, совершенно точно!—подтвердил Омурбек, беря ее под руку. Гулай склонила голову ему на плечо.

— Долго я тебя заставила ждать?

— Чуть меньше академического часа.

— Прошу извинить.

— Ни за что не извиню!

— Ну, я прошу,— сказала она умоляюще.— Ведь и я тебя... буду ждать! — добавила она. От этих слов сердце Омурбека застучало сильнее.

— Нет, прощения не будет!— продолжал он упрямо.— Никто еще не заставлял меня так долго ждать. Я очень зол на тебя...

Омурбек сам испугался своих слов — он понимал: это было жестоко. Его широкий лоб даже вспотел.

— Скажи, Омурбек, что мне сделать, чтобы ты простил меня? Ну!.. Ведь ты все равно простишь...— Гулай еще плотнее прижалась к нему.

— Если сделаешь вот так, тогда прощу,— ответил Омурбек и неожиданно поцеловал ее в щеку. Гулай испуганно отстранилась, осуждающе посмотрела в лицо Омурбека широко раскрытыми глазами.

— Как тебе не стыдно? Я не пойду с тобой!— сказала она, отходя в сторону. — Что ты делаешь? Так нельзя! — Но вдруг подошла к Омурбеку вплотную и с нежностью заглянула ему в глаза.

— Ах, нельзя! — с притворной досадой повторил Омурбек.— Тогда верни его обратно,— приблизил он свои гу-

бы для поцелуя. Гулай застенчиво улыбнулась. А Омурбек смотрел на нее ждущим, нетерпеливым взглядом.

Гулай опустила длинные, тонкие, как усики у колоса, ресницы, как бы выражая этим полную покорность воле любимого.

XII

Черный «ЗИС» мчался по бухарским дорогам. Мелькали серые домики кыштаков, зеленые сады, виноградники. Работник областного отдела народного образования Омурбек две ночи кряду провел почти без сна — работал в особой комиссии — и теперь чувствовал утомление. Стояла нестерпимая жара. Она окончательно его разморила. Глубокую тишину нарушал лишь мерный, приглушенный гул мотора. Машина плавно катилась по ровной дороге, укачивала. Омурбек задремал.

— Омуш!—послышался ему сквозь сон голос Гулай.— Звездочка моя, солнышко мое... Ведь я... всего лишь букетик цветов в твоих руках. На всю жизнь я — твоя. Не удивляйся моему приезду: я не могу жить без тебя ни одной минуты...— Омурбек ощутил, как горячие губы коснулись его лба.

Он открыл глаза, улыбнулся, но тут же нахмурился, недовольный тем, что ему помешали спать. Склонив голову на грудь, Омурбек тотчас задремал. А Гулай продолжала говорить:

— Есть ли у кого-нибудь еще такой несносный характер, как у тебя! То ты ласков и добр, то хмуришься, как грозовая туча, и к тебе боязно приблизиться... Ты не маленький, Омуш, собираешься стать мужем и отцом, пора бы тебе одуматься, бросить эти скверные привычки. Или ты хочешь, чтобы я возилась с тобой, как с капризным ребенком?..

Омурбек громко расхохотался — так все это было похоже на правду. Смех окончательно разбудил его. Он взглянул на шофера — как тот воспринял беспричинный хохот, не догадался ли о его сновидениях?.. Шофер, занятый своими думами, внимательно смотрел на уходящую под колеса машины дорогу.

Какое-то необъяснимое чувство досады испытывал Омурбек от этого странного сновидения. Чем оно вызва-

но? Обидой Гулай?.. Но ведь она его любит! Эта мысль вернула ему спокойствие. В мечтах о их совместной жизни он незаметно доехал до дома.

Войдя в комнату, он подошел к своему рабочему столу и увидел голубой конверт, на котором рукой Гулай был написан его адрес. Омурбек схватил письмо, вскрыл конверт, вынул исписанный листок бумаги и прочитал следующую неожиданную для него весть:

«Омурбек!.. Мои глаза застилают слезы... Это горе, которое сочится из моей души. Для тебя я теперь — увядший цветок. Ты же для меня — далекое, призрачное видение. Словно льющийся на снег дождь, капают на белую бумагу мои горькие слезы... Они оплакивают потерянную любовь... Будь счастлив и не обижайся на меня. Если когда-нибудь вспомнишь Гуль, не думай о ней плохо... И не пиши мне больше. Ладно? Бывшая твоя Гуль.»

Омурбек не верил глазам. Он перечитал письмо несколько раз, но ничего нового в нем не обнаружил.

Глаза Омурбека наполнились слезами. Невидящим взором он уставился в клочок бумаги, принесший ему столько горя. Перед ним вставали картины его последних встреч с Гулай, оживали незабываемые минуты счастья и радости. От этого было еще больнее.

Заводской гудок заставил Омурбека вздрогнуть, вернув его из оцепенения.

Доброта и отзывчивость уживались в Омурбеке с настойчивостью и упрямством. Слова Гулай «Будь счастлив и не обижайся на меня» вонзились в его сердце, как тупой нож. Все лучшие воспоминания, связанные с Гулай, вдруг потускнели, казалось, их бесследно смывали эти жестокие слова. Что они означают?..

Не к лицу джигиту горевать по девушке, образ которой развеялся подобно дыму, гонимому ветром. «Пусть будет счастлива и пусть на меня тоже не обижается»,— решил Омурбек и написал телеграмму:

«Письмо получил, твоим решением согласен, живи счастливо. Омурбек».

Раньше он всегда ставил в конце письма: «родной твоему сердцу», «твой жених», «твой соловей», «твой Омурбек». Телеграмму он подписал холодно, как посторонний ей человек. Былые теплота, нежность куда-то улетучились, пришло холодное равнодушие, отчуждение. Но

он не мог побороть в себе чувства ревности. Оно жгло его, как огонь.

Он ходил из угла в угол по своей маленькой комнате, вдруг показавшейся ему пустынной и неприветливой. Открыв ящик стола, Омурбек извлек пачку писем. Это были ее письма. С ожесточением он начал рвать их в мелкие клочья и расшвыривать по полу. Под руку подвернулся листок со стихами «Когда сердце плачет». Эти стихи он послал ей в последнем письме.

Пусть глаза мои в слезах—
Слезы с сердца боль смывают,
Будто струйки родника,
Пламя сердца заливают.
Сердце, сердце, отчего
Не даешь душе покоя?..
... Я могу слезу стереть
Голубым платком с каймою...
Сердце ж спрятано в груди,
Плачет скрытно, боль тая.
Я унять его не в силах —
От того печаль моя...

. . . . . .

Когда тоскует сердце —
И тигра страдать заставит...
Скрытные слезы сердца
Душу, иссушая, старят...

Прочитав стихи, Омурбек стиснул зубы, разорвал их и швырнул к двери. Он нервно зашагал из угла в угол, разговаривая сам с собой. Если бы кто-нибудь увидел его в этот момент, то непременно счел бы за пьяного или ненормального.

«Да, я действительно страдал все это время. А из-за кого? Из-за тебя, Гулай... Только из-за тебя! Ты обманула меня. Ты никогда меня не любила, ты любила его, его, его!..

Я поверил твоим словам, как жаворонок змеиным взглядом, был загипнотизирован тобою и... обманут. Ах, что ты со мной сделала!.. Ты отбила у меня всякое желание продолжать заниматься литературной работой. Оказывается, за внешней красотой невинного цветка в тебе скрывалась жгучая крапива! Минутное увлечение тебе дороже вечной дружбы, любви... Двуглавая змея, бесстыдница! Ты потеряла честь и совесть! Ладно, будем живы — встретимся. Обманом счастья не найдешь!..»

Омурбек, охваченный отчаянием, сел к столу, опустил голову на руки.

— О Гуль! Чтобы я никогда больше не видел твоего красивого лица!..— воскликнул он со стоном.

Резко зазвонил телефон. Омурбек нехотя поднял трубку.

— Алло! Да, Бектурганов слушает... Не узнаете голоса? С дороги, устал... Кто говорит? Исман?! Здравствуй! Ты из Сталинабада?.. Мои стихи?.. Ну?.. В газете?.. Пусть хвалят... Выходит из печати моя книга?.. Кто же ее издает?.. Ну, что же... пусть... К весне думаю освободиться. Пишу все время. Да, и я соскучился о старике... Как освобожусь, сообщу о выезде... До свидания, брат, будь здоров...»

Пока Омурбек разговаривал по телефону, его лицо все больше светлело, на него набежала улыбка и теперь уже не сходила. Впервые он узнал, что удача в творческих делах может на время заглушить тоску раненого сердца, вытеснить из него любимую. Неужели твоя первая книга так же дорога тебе, как и первая любовь?.. Сердце Омурбека счастливо и радостно колотилось, сразу же излечившись от тяжелой раны. Его мысли были заняты теперь его первой книгой. Ему так захотелось взять ее в руки, развернуть и почитать!

— Итак, мои стихи одобрены!— радовался вслух Омурбек.— Теперь все знают, что моя книга находится в печати... Все ее будут читать... Что может доставить большую радость! О, радость уже взяла верх над печалью!..— Омурбеку захотелось поделиться своей радостью с кем-нибудь близким. Перебрав в памяти товарищей, он почему-то остановился на Гулай. И снова его охватило чувство ревности. Нет, он никому не хотел ее уступать!

— Но, — сказал он себе твердо и решительно, — навязываться той, которой ты опыстылел, не пристало джигиту. И все-таки я должен написать ей...

Охваченный горем и радостью одновременно, он тут же настрочил письмо.

«Гуль! Какая колючка выросла между двумя цветками?.. Разве не были мы парой лучистых глаз, созданных для украшения одной головы?.. Каждый ищет свое счастье, каждый находит себе друга... Я любил тебя всей душой. Дни, проведенные в разлуке с тобой, казались мне

окутанными мглой. И вот моя любовь развеяна ветром. Никогда я не думал, что ты так бесчестно поступишь со мной. Мне остается пожелать тебе... счастья с тем, кого ты избрала!

Вот уже шесть месяцев, как я приехал в Бухару. Эти шесть месяцев показались мне дольше шести лет. Если бы ты была со мною, разве бы не пролетело это время, как шесть часов? Я не прошу, чтобы ты вернула мне свою любовь. У каждого из нас только одно сердце и любить оно может только одного. Я не намерен идти наперекор своей совести и не собираюсь разлучать тебя с новым другом. Живите счастливо!..

Сегодня я понял, что значит истинная любовь... Кто знает, был бы я сейчас в живых, если бы не открыл для себя этой тайны любви...

Тебя я любил всем сердцем. Ты же любила меня только на словах. Язык обманывает себя, а сердце крепко хранит свою тайну. Теперь моя любовь, которую ты отвергла так жестоко, отдана моим стройным, подобно собранному в ожерелье жемчугу, стихам.

Сегодня я разговаривал с братом по телефону. Узнал от него, что мой первый сборник стихов сдан в печать, а мои стихи, появившиеся в газете, с восторгом приняты читателями. Если мои стихи нравятся, значит — меня полюбит народ, читатели! О другой любви я не могу и мечтать! Чтобы заслужить еще большую любовь народа, я отдам моим стихам все, что у меня есть,— и душу и сердце. Я буду баловать своих читателей больше, чем можно баловать любимую девушку. Знаю, они никогда меня не обманут.

Твои ласки вспоминаются мне, как приятные сновидения, но они завершились кошмаром... Моим стихам я отдам свое сердце, и они никогда не оставят меня. Мне очень жаль и тебя и себя... Но ты забудь про все и живи счастливо со своим новым другом.

Сбившейся с пути красавице от обманутого Омурбека».

XIII

Подобно бисеру нанизывались дни на длинные нитки лет.

У старого Бектургана борода стала совсем седой. Но старость пришла к нему добрая: старик был спокоен и весел, с характером мягким, уживчивым.

— Дедушка, скажите, сколько вам лет?— спросят его бывало.

— Двадцать два исполнилось, сынок, — ответит он и рассмеется. А то снимет тюбетейку и, поглаживая ладонями стриженую голову, скажет:

— Не удивляйтесь, что голова моя сверкает серебром. Это потому, что мне когда-то исполнилось шестьдесят три года... Да, а потом я стал жить по-человечески, и живу всего лишь двадцать два года. Некоторые считают, что мне уже восемьдесят пять лет. А зачем мне спешить!..

Вряд ли он завидовал тем, кто молод. Ведь говорили о нем:

— Поразительно! Посмотрите на эту сухую арчу — она ровесница Бектургану, а уже давным давно высохла! А он все еще полон здоровья и сил!..

И чего ради Бектургану стареть! У него за столом такая еда, какую не знал и хан. Одевается он так, как в жизни не одевался. Вырастил двух здоровенных, как тигры, сыновей. Один пишет книги, другой — начальник... Дом у него не хуже дворца. Он благодушествует себе за чаем и, включив радиоприемник, говорит: «Послушаю-ка я песни моего Омурбека». И сидит, слушает, довольный, поглаживая седую бороду. Разве от такой жизни будет человек стареть?..

И все же появились приметы старости — бессонница. Летом он встает раньше ворона и гонит на лужайку скотину. А зимой чуть свет возится на скотном дворе: кормит жеребят, убирает навоз...

— Дед, и чего ты все канителишься? Сидел бы себе спокойно, — скажут иные.

— Эх, дети мои! Из грошей складывается рубль, — отвечает он. — Всякое большое дело начинается с самой ничтожной работы. Пусть моя работа в сравнении с вашей — муравьиные хлопоты. И все-таки я ее не оставлю. Эх, старость! Будь я таким молодым, как вы, горы свернул бы...

Иногда Бектурган вел себя, как ребенок. То он с усердием молится богу. То, забыв помолиться, чуть свет бегает от дома к дому и кричит: «Эй, вставайте! Пора на работу, сколько можно спать?!» А то взберется на холмик и сидит, встречая восход солнца или любуясь его заходом.

— Дедушка, что вы все смотрите то на восток, то на запад? — спросит его любопытный.

— Эх, дети мои! Или вы ничего не понимаете в красотах природы, или не замечаете их,— отвечает Бектурган.— Обратите внимание! И всходит и заходит солнце всегда одинаково тихо и приветливо, без всяких тревог. Человек — такое же божье творение, но при рождении он радуется, а смерти пугается. Почему он не создан таким же, как солнце, — спокойным и беззаботным?

Некоторые думали, что старик выжил из ума, иные говорили:

— Бектурган рассуждает, как мудрец. Он говорит о таких вещах, которые простому смертному и в голову не приходят...

Вот как выглядел Бектурган на восемьдесят пятом году своей жизни.

Когда Исмана назначили директором одной из МТС Чуйской долины, Бектурган и вовсе воспрянул духом. «Соберитесь все поближе к дому. Тогда хоть в два месяца раз будете показываться мне на глаза», — писал он своим сыновьям.

Омурбеку за все эти годы удалось навестить отца всего лишь три раза.

— Э, айланайын! Почему не привез с собой молодую жену? Она у тебя врач? Скажи ей, пусть вышлет мне очки,— попросил Бектурган в один из приездов Омурбека.

— Дорогой сынок! Приехал бы как-нибудь со снохой и внуком. Пусть они отдохнут на зеленом джайлоо. И чего тебе дался этот город, что никак не можешь с ним расстаться! Посмотри на сыновей Исмана—сами с воробья, а как на лошади ездят! Твои дети, наверно, побоятся и подойти к лошади,— говорил он ему в следующий его приезд.

Когда Омурбек приехал в третий раз, Бектурган попросил:

— О сын мой! Я становлюсь совсем стар. Привези ты мне кого-нибудь из своих детей! Я сам буду нянчиться. Пусть внук бегает за мной, как цыпленок. Мы с ним сходим в горы по ягоды... О, мои сыновья стали совсем чужими. Разве для того я вас растил?!. А твои дети, я слышал, разговаривают только по-русски. Как же мы будем понимать друг друга?.. Они меня и дедушкой звать не будут.

— Не обижайтесь, атаке! Вот приеду в июне и оставлю вам всех внучат. Жена тоже меня ругает: что же, говорит, я увижу атаке, когда буду совсем старухой?..

Яблоня, посаженная Бектурганом в честь первого внука, раскинула ветви, отцвела и уже дала завязи. Остальные яблони, которыми отмечался год рождения каждого из младших внучат, были моложе, но уже зазеленели и шелестели на ветру тонкими верхушками.

Ходит старик среди яблонь и кажется ему, что внучата тут же, рядом, бегают за ним. И лицо Бектургана светится счастливой улыбкой. Привычным движением рук снимает он паутинки с веток и, оглядевшись вокруг, шепчет: «Хоть бы скорее приехали мои птенчики».

Однажды, сидя в тени яблонь, он поворожил на камешках и позвал свою старуху:

— Смотри, как легли камешки! В этом году дети не приедут к нам... На днях мне приснился сон: будто Омурбек покупает мануфактуру, много мануфактуры... А это разгадывается, как дальняя дорога. Похоже, опять в свою Москву ехать собирается. Мой сон и камни говорят одно и то же, — поднял он один камешек. — Если бы камешки легли вот так — к порогу, наши дети обязательно приехали бы... Ну, ладно, пусть едут, куда хотят, были бы здоровы, — миролюбиво закончил он.

— Если нынче не приедут, то сама съезжу к ним,— сказала старуха.

— Ну, что ж, поезжай,— поддержал ее Бектурган.—Они теперь большие, знатные люди, и к ним приходят такие же... Да... Сядут они вокруг стола, а ты притулишься где-нибудь на полу. Ведь неудобно сажать тебя за один стол с большими людьми! Если доведется тебе поехать, помни об этом. Не распускай при гостях язык, много не разговаривай! Приглядывайся к ним, ешь с вилки, а не хватай руками. Да и спишь ты как-то нехорошо. Ты ложись спать, когда все улягутся, а вставай раньше всех!—наставлял он старуху.

Собрав свои камешки, Бектурган поднес их к губам, потом ко лбу.

Старухе не понравились наставления мужа. Выслушав их, она грустно вздохнула и сказала:

— Сами они, наверно, приедут...

XIV

В тот день, когда старик со старухой сидели в тени под яблоней, опечаленные неудачным гаданием на камешках, Омурбек собирался в поездку к отцу. Гостивший у него Исман, узнав о намерении брата, посоветовал:

— Отложи-ка поездку дня на три. Ведь я не знал, что ты собираешься к нам. Надо подготовиться к встрече.

— К чему эти приготовления?— возразил Омурбек.— Нет, поедем вместе, а вещи уложим на твою машину.

— Нет, вы должны задержаться с выездом на три дня... Как только ты приедешь, все районные работники один за другим повалят к нам. Ведь это твои старые друзья! Надо же что-то такое организовать, чтобы было чем встретить гостей. А вещи свои давайте мне, увезу на своей машине, — настаивал Исман.

— Ну, хорошо, — вмешалась жена Омурбека. — Кстати, тебя сегодня приглашал школьный товарищ. Не пойти — неудобно, — напомнила она Омурбеку.

— Какой товарищ? Кто такой? — полюбопытствовал Исман.

— Ладно, уговорили, — согласился Омурбек. — Ты езжай, а мы скоро нагрянем... А этот товарищ... летчик. Мы с ним учились в интернате. Прилепился, как клей: «Обязательно должен быть сегодня у меня». А обижать его не хочется.

В тот же день Исман сел в старенький «Газик» и поспешил к себе в аил, чтобы подготовиться к встрече гостей... А Омурбек отправился к своему товарищу, Михайлову.

Здесь его уже ждали. За столом, кроме хозяина, сидело четверо летчиков. Они говорили о последних событиях в жизни авиаторов. В то время весь мир восхищался первым перелетом советского воздушного корабля через Северный полюс в Америку. Имя командира корабля Валерия Чкалова повторялось множеством людей.

— Этот тост я провозглашаю за учеников великого Чкалова, за крылатых соколов нашей великой Родины, товарищи! — поднял бокал Михайлов, и друзья чокнулись.

Прозрачное, как янтарь, шампанское вновь полилось в бокалы.

— Я предлагаю поднять бокалы за успехи молодых киргизских соколов, впервые взлетающих над горами Киргизии!— предложил начальник аэроклуба.

Бокалы со звоном соединились над столом.

— Но почему впервые?.. Над киргизской землей давно уже парят соколы,— заметил Омурбек.

— К нам прибыло пополнение — шесть новичков. Среди них — первые летчики-киргизы. Они еще не летали над своей родной землей,— пояснил начальник аэроклуба.

Видимо, Омурбеку захотелось написать что-нибудь о молодых летчиках-земляках. Он спросил:

— А можно узнать их имена и фамилии?

Михайлов помнил всех, он назвал имена и фамилии молодых летчиков. Никто не заметил, как побледнели щеки Омурбека. Некоторое время он не мог вымолвить слова. Потом, точно спохватившись, быстро проговорил:

— У этих молодых соколов, как часто бывает, и жизнь должна быть интересной. Нельзя ли узнать о них что-нибудь?

— Эти писатели любопытны, как дети!— со смехом заметил Михайлов.— Пристанут—не отвяжешься. На ваше счастье, у меня случайно задержались их личные дела. Могу познакомить.— Он достал из несгораемого шкафа папку с документами, подал Омурбеку.

Что так заинтересовало Омурбека, что его взволновало? Об этом никто не спросил: очевидно, каждый видел в действиях Омурбека профессиональную писательскую любознательность — и только.

Просматривая автобиографии летчиков, Омурбек наткнулся на строки, которые перечитал несколько раз:

«...Помню, я был еще совсем маленьким. По пути в Ташкент, на станции Арысь, я заблудился и отстал от поезда. Сел без билета в первый попавшийся поезд. Вместо Ташкента меня привезли в Оренбург. Кондукторы сняли меня с поезда и сдали уполномоченному железнодорожного отделения ГПУ. Адреса своего я не знал. Меня направили в трудовую коммуну. А потом я попал в авиационную школу... Таким образом я потерял отца и обоих братьев. Живы ли они, я не знаю. В настоящее время я совершенно одинок...»

Глаза Омурбека, которые он никак не мог оторвать от этих строк, наполнились слезами, горло сдавили спазмы.

— Товарищ Михайлов, где остановились эти молодые летчики?— спросил он дрогнувшим голосом.

— Они приехали только вчера и остановились в гостинице. В День авиации они полетят в колхозы, будут проводить там собрания, выступать с докладами. Если хочешь, могу познакомить с ними.

— Пожалуйста, я буду вам очень благодарен,— ответил Омурбек и добавил:— А теперь разрешите мне уйти, я собираюсь ехать в аил к отцу, надо собраться в дорогу. А вечером прошу вас быть у меня.

Простившись со всеми, Омурбек поспешил в гостиницу. Всю дорогу он с волнением думал:

«Что это?.. С пьяна мне померещилось? Или какое-то случайное совпадение? Или действительно это он? Узнаю ли я его? Конечно, узнаю! Как он должно быть, вырос, изменился. Каким стал джигитом!..»

Человек, которым интересовался Омурбек, как сказала дежурная по гостинице, остановился в восемнадцатом номере. Омурбек быстро взбежал по лестнице на второй этаж и постучал в дверь. «Войдите, войдите»,— послышалось ему. Но дверь была заперта. Он постучал второй и третий раз — никто не отозвался. «Померещилось»,— решил Омурбек и, тяжело дыша, побежал обратно.

Он походил на человека, охваченного паникой,— точно кто-то тяжело заболел, и он мечется в поисках неотложной помощи, или его преследует враг...

«Что случилось?»— невольно думал каждый, кто встречал его в эти минуты. Бледное лицо Омурбека блестело от выступившего пота.

Он ничего не видел перед собой и потому неудивительно, что толкнул плечом шедшего навстречу рослого белолицего джигита. Омурбек извинился.

— Ничего,— ответил джигит по-русски. — Не случилось ли с вами чего-нибудь? Вы так взволнованы.

— Нет, все нормально,— остановился Омурбек.— Вы, кажется, летчик. Вы остановились здесь, в гостинице?

— Да, здесь.

— А не знаете ли вы Бектурганова?

— Не этого ли человека вы разыскиваете?— показал джигит на портрет, изображенный на обложке книги, которую он держал в руке.— Разве автор этой книги тоже живет в гостинице?

Омурбек узнал свою книгу, но почему-то не решился сказать, что он и есть ее автор.

— Знаю, автор этой книги живет здесь, в городе, хотя и не в гостинице. Я разыскиваю его брата, летчика. Может быть, вы его товарищ?

Джигит еще раз взглянул на портрет в книге, как бы припоминая что-то.

— Братом ли автора этой книги является тот летчик, я не знаю. А я не товарищ летчика, а тот самый человек, которого вы разыскиваете,— сказал джигит.

Омурбек присмотрелся к лицу собеседника и увидел приметную родинку на его левой щеке. Схватив за руку джигита, он радостно воскликнул:

— Табылды!.. Я — Омурбек!— И братья заключили друг друга в крепкие объятия...

Прошел день.

Рано утром, едва пылающий диск солнца бросил на землю свои первые лучи, Омурбек усадил детей в машину и, прощаясь с братом, сказал:

— Значит, договорились, Табыш... Через пять дней.

— Буду восемнадцатого в десять ноль-ноль,— ответил Табылды, помогая сесть в машину жене Омурбека.— Небось, аэродром у вас оборудован отлично?

— Да, аэродром построен недавно, его очень хвалят. До твоего приезда я ничего не скажу отцу. Мы устроим ему приятный сюрприз. До скорого свидания!

Озорники Омурбека, подражая отцу, помахали ручонками провожающим, и «ЗИС», посигналив мелодичным гудком, помчался на восток...

А через пять дней, восемнадцатого августа, над облаками летела стальная птица. Молодой летчик вел ее в родной кыштак своего отца...

XV

Никогда Бектурган не чувствовал себя таким счастливым: два сына с женами и детьми сидят у него в гостях. Да еще почти к самому дому сегодня прилетел самолет, как будто на крышу его дома опустился сам Кут—дух счастья. И оба летчика, прилетевшие на нем, удостоили старика высокой чести — пришли к нему в гости. Утомлен-

ный волнениями, старик не выдержал и уснул, и гости тихо шепчутся, боясь нарушить его сон.

...Стол перед Бектурганом ломился от обилия самых разнообразных яств. Многое из того, что на столе, старик видит впервые в жизни. Бутылки шампанского, придающие столу особую торжественность, кажутся старику какими-то сказочными.

Гости внимательно слушали рассказы старика о прошлой его жизни. Они то смеялись, то в глубоком молчании печально опускали глаза. Белолицый джигит, сидевший рядом с Бектурганом, был особенно возбужден. Он никак не мог усидеть на месте, то и дело выбегал из комнаты. Улыбка не сходила с его лица.

Старик, кроме кумыса, ничего не пил, но был опьянен избытком счастья.

Присутствовавший среди гостей секретарь райкома, верно оценивший состояние Бектургана, спросил:

— Дедушка, вы прожили много и пережили немало. Все ли ваши мечты сбылись? Не осталось ли в вашей душе горечи неисполненного желания?

— Да, да, это очень интересно,— вставил кто-то.

— Эх, сынок! Трудный вопрос ты мне задал,— ответил старик, поглаживая бороду.— Мое сердце изранено. Чего я только не перенес в своей жизни! И какую бы жизнь ни знал человек, у него всегда рождаются новые желания. Когда я был голодным — мечтал только об одном: «Чем бы мне насытить желудок?» И ничего большего в те дни я не желал. Но когда это желание исполнилось, и я уже не думал о еде, появилось другое желание: «Как бы мне не ходить в рваной одежде?» Когда я стал сыт, одет, обут и обзавелся собственным углом, меня стала терзать мысль: «Черт возьми, как бы отомстить тем злодеям, которые угнетали меня всю жизнь?» Исполнилось и это желание. Но пришло новое: «Как бы дети мои вышли в люди, обзавелись семьями. Дожить бы мне до такого счастливого времени — тогда и умереть можно спокойно». Все мои желания сбылись. Но умирать не хочется. Да и жизнь, кажется, все еще в долгу передо мной. Собрать бы, думаю, вокруг себя всех сыновей — тогда никаких претензий не было бы у меня к жизни. Сегодня и это желание удовлетворено. Мои сыновья, внуки — в тесном семейном кругу, словно фрукты на ветке, и я испыты-

ваю верх блаженства. Кажется, я могу спокойно умереть И все-таки умирать рано. Осталось еще одно желание...— Бектурган тяжело вздохнул.

— Ну, чего бы вы еще хотели, дорогой дедушка?— спросил кто-то из гостей.

— Эх, сын мой! Мечта человека резвее всякого скакуна. В своем беге она не довольствуется тем, что достигнуто, и стремится к тому, чего нет и никогда не будет...— Бектурган с минуту сидел молча, потом продолжал:— Сказать по правде, человек никогда не довольствуется достигнутым счастьем и умирает, так и не исполнив всех своих желаний. С давних пор мою голову сверлит горькая дума. Может, вам это не совсем понятно... Вы люди молодые, ученые и все воспринимаете по-своему. Но я до сих пор переживаю очень тяжело...

— Что вас мучает, дедушка? Скажите — мы все готовы помочь вам.

— Нет, дети мои! Тут человек бессилен. Один только бог может помочь... Моего самого младшего сына... самого младшего... того, которого я выходил в мучительно тяжелые годы... его нет с нами. Он пропал без вести... Я не слышал его детского лепета, не видел его детских игр. Он умер, не успев увидеть ничего на свете... В больших мучениях он пришел в этот мир и в мучениях ушел из него. Если бы он был жив, ему шел бы уже двадцать третий год. И сидел бы он сегодня рядом со мной. Вот мое последнее желание, которое никогда не сбудется.

Рассказывая о сыне, Бектурган ни словом не обмолвился о том, как он его нашел.

— Мой милый мальчик! Хорошо, если он ушел от нас без обиды на меня. Иногда он, как живой, стоит перед моими глазами. Иногда мне кажется, что он только что умер, и от этого сердце сжимает тоска,—закончил старик свой печальный рассказ и тихонько смахнул набежавшие слезы.

Табылды с волнением слушал рассказ отца, шагая по комнате. Увидев слезы на глазах старика, он не выдержал:

— Атаке! Вы не узнали меня? Ваш Табылды — это я!

Потрясенный Бектурган вскочил на ноги с проворностью барса и на секунду замер, всматриваясь в черты лица рослого белолицего джигита. Потом он медленно подошел к сыну и притянул его к себе.

— Наконец-то!.. Наконец-то на моем сердце зажила последняя рана!.. Живите счастливо, дети мои. Пусть исполнятся все ваши желания. Табылды! Дорогой мой! Дай мне еще раз обнять тебя!..

Бектурган не сказал больше ни слова. Крупные слезы катились по его щекам. С виноватой улыбкой он покачивал седой головой, беззвучно шевеля губами. Казалось, он навсегда лишился спутника своей жизни — языка.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Недавно я встретил в поезде Омурбека. Мне захотелось узнать, какова дальнейшая история его отношений с Гулай. Дождавшись удобного момента, я спросил его:

— На ком же ты теперь женат, на Гулай или на другой?

Омурбек грустно улыбнулся и, тяжело вздохнув, сказал:

— На другой. Хотя дерево поднимается от одного корня, потом оно раскидывает свои ветви в разные стороны. Так получилось и с нами. Хотя мы оба стремились к одной цели, хотели навсегда остаться вместе, судьба нас разлучила.

Омурбек стряхнул пепел с папироски и стал пристально смотреть на колечки дыма.

— Может быть, расскажешь подробнее, как сложились ваши судьбы, если тебе это не очень тяжело?

— Наша любовь кончилась печально. Но все же я расскажу о ней.

Со мной учился один плутоватый парень, по имени Тарпанбай. Черной колючкой, выросшей между мной и Гулай, оказался именно он. Этот плут перехватывал мои письма к Гулай и вместо них посылал от моего имени другие, которые сочинял сам.

«Не жди меня. Живи с тем, кто тебе больше приглянется. Я не хочу стоять преградой на пути к твоему счастью. Забудь меня!»— так он писал в своем первом письме. В следующий раз он стал уже наглее: «Я хочу, чтобы ты нашла свое счастье. Если хочешь послушаться меня, выходи за Тарпанбая». В третий раз он уже пишет: «Я здесь, в Бухаре, женился. Если тебе не будет неприятно, полюбуйся на нас на этой фотокарточке». Он берет мою фотографию, случайно оказавшуюся у него, достает фото-

графию смазливой женщины и делает подлог — пересни-мает с помощью какого-то фотографа оба снимка на одну фотокарточку. Получается счастливая пара — молодожены. Эту подделку прохвост вкладывает в конверт и посылает Гулай. Не выдержав такого издевательства, Гулай чуть не кончает жизнь самоубийством. Но человеку трудно расставаться с жизнью. Оставив эту мысль, она берет у Тарпанбая мой адрес и пишет мне небольшое письмо, о котором ты уже знаешь. После моего ответа на это письмо у нее никаких надежд уже не остается.

Человеку, переживающему тяжелое горе, дорого каждое слово утешения, от кого бы оно ни исходило. Тарпанбай, конечно, тут как тут. Он принимает самое близкое участие в ее переживаниях и окончательно завоевывает ее расположение. Вскоре она выходит за него замуж. Когда Тарпанбай достиг своей цели, он открыто стал хвастаться своими гнусными проделками.

Узнав, что она стала жертвой грязных интриг, Гулай всеми способами старается избавиться от проходимца. Но Тарпанбай никак не желает расставаться со своим счастьем, добытым таким трудом. За ее любовь ко мне он стал ее жестоко истязать...

И вот его отдают под суд. За истязание жены и другие преступления Тарпанбай попадает в тюрьму. Через два года Гулай выходит замуж за другого...

Все эти годы я ни разу не виделся с Гулай. И только в тридцать четвертом году мы случайно встретились в одном доме, в гостях. Увидев меня, она чуть не потеряла сознание, но все же нашла в себе силы поздороваться со мной. В гостях она не осталась.

Когда я встретился с ней второй раз, она чистосердечно рассказала все подробности этой печальной истории. О, как она проклинала тех, кто своими подлостями отравляет жизнь людям! Как она жаловалась на свою судьбу!..

С этого времени мы стали часто встречаться. Она живет и работает в нашем городе. Теперь у каждого из нас своя семья. Но любовь наша, кажется, так же свежа, как и тогда, хотя и таится где-то в глубине сердец. Теплую дружбу, думаю, мы сохраним на всю жизнь. Меня все время влечет к ней. Как-то уж очень легко и приятно становится на душе всякий раз, как поговоришь с ней...

Кто знает, что у нее в душе? Но только лицо ее всегда такое печальное. А может быть, мне так кажется? Не знаю. Вот вкратце печальная история нашей любви.

Ну, а теперь рассказывай о себе,— сказал в заключение Омурбек.

— Кто из нас не пережил в молодости этих чувств!— ответил я Омурбеку.— Кому из нас не устраивали разных пакостей. Из своей жизни я мог бы рассказать тебе историю куда интереснее. Приходи ко мне как-нибудь в выходной день. Посидим, потолкуем. Думаю, мой рассказ не покажется тебе скучным. Заранее скажу — и посмеешься вдоволь, и поплачешь...

ВРЕМЯ ЛЕТИТ

ТРОЕ

Айтике сидел в степи, тоскливо шептал:

— Я за счастьем гонюсь, а оно даже тени своей не показывает мне. Оно бежит от меня! Оно боится меня! Нет, наверное, я согрешил. Да не достигнут слуха господня слова мои! Нет мстителя грознее бога... Да, я согрешил. Прости, боже! Прости и помилуй раба твоего. Не наказывай меня, боже! Оставь меня хозяином того, что добуду потом своим. До этих лет дожил—не обокрал я, не оклеветал никого. Хотя от других немало брани слышал, никому грубить не хочу. Может, в том и горе мое...

Он хотел еще на что-то пожаловаться, но четырехлетний мальчик, лежавший на старом с истрепанным подолом халате из маты, забормотал во сне, и слова Айтике умерли непроизнесенными. Он взглянул на сына.

Прижав кулачки к подбородку, съежившись, ребенок скрипнул зубками, простонал: «Мамочка, носка, говолю! Мамочка, носка, носка!»— и заплакал слабеньким голоском, роняя слезы на старый чапан. Отец, не сводя глаз с мальчика, наклонился над ним, стараясь успокоить его. Ребенок раскинул ручки, словно хотел обнять кого-то, чмокнул губками и потянулся, улыбаясь. Седоватая, торчащая клинышком бородка Айтике давно намокла от слез, но сейчас лицо его посветлело, по телу потекло тепло. Ему стало радостно, словно звезда счастья зажглась над его головой. Сын ворочался, лепетал во сне что-то детское, непонятное. В порыве отцовской любви Айтике коснулся

своими шершавыми ладонями розовых щечек ребенка, припал к ним влажной бородой и, целуя, приговаривал:

— Милый Джапар! Милый жеребеночек мой! Счастье ты мое! Надежда моя! Память о моей радости!

Ребенок схватил отца за руки, потом потер кулачками глаза, проснулся и засмеялся. Айтике, прижав сына к груди, бормотал:

— Без тебя нет мне света! Вырастешь ли ты?.. Не пора идти нам? Уже за полдень. Есть хочешь? Нарвать тебе тутовых ягод?

Продолжая обнимать ребенка, Айтике целовал его обожженные солнцем щеки.

— У тебя борода моклая!— испуганно вскрикнул мальчик.

— Да, мокрая,— голос Айтике дрожал. Он вытирал бороду рукой, а глаза его снова наливались слезами.

Увидев, что отец плачет, Джапар опустил глаза и замолчал.

— Что, милый? Что ты в землю смотришь? Я только что умылся,— успокаивал Айтике.— Есть хочешь?

— Нет, не хочу,— сказал мальчик и коснулся ладошкой бороды отца.

Джапар лишь смутно догадывался о том, что у него уже нет матери. Отец всегда говорил о ней, как о живой, и ребенку казалось, будто она опять придет, приласкает его и накормит. Но сейчас он словно сквозь сон припомнил: мать опустили в яму, отец плакал, а он сам клал горсти земли на ее могилу. Картина была неясной, как будто в тумане, но от нее становилось холодно на сердце. Хрупкое детское сознание наполнилось жалостью и печалью. Мальчик готов был заплакать, позвать: «Мама! Мамочка!»

Айтике не хотел обнаружить перед ребенком свое горе, но не хватало сил скрыть его.

— О счастье твоего несчастного отца!— воскликнул он.— Ты соскучился по маме?

Мальчик всхлипнул, обнял отца за шею и, склонившись на его худое плечо, смотрел в землю.

Лежавшая в тени тутового куста собака, словно понимая человеческое горе, задрав морду, смотрела на Айтике и мальчика. Защищаясь от мух, она тряхнула головой и стала облизываться длинным розовым языком.

— Куткалбас, Куткалбас, на!— позвал Джапар.

Ударив хвостом по земле, пес с визгом рванулся к мальчику, ласкаясь, стал хватать его за руки. Мальчик, соскользнув с колен отца, начал бороться с собакой. Куткарбас то падал на спину и задирал лапы, то бегал вокруг ребенка, махая хвостом и визжа.

Айтике смотрел на их возню и не замечал, как тоска, свинцом давившая грудь, покидала его. С каждым вздохом ему становилось все легче.

Собака вырвалась из рук мальчика и побежала, хлопая отвислыми ушами.

— Джапар! Эй, Джапар. Сюда беги! Сюда!— закричал отец.

Собака обогнала мальчика и, подбежав к Айтике, уперлась ему в грудь передними лапами. Оттолкнув ее, Айтике подхватил на руки хохочущего Джапара и принялся подбрасывать его. Пес бегал вокруг. Джапар махал ручонками, звал разыгравшегося Куткарбаса.

После смерти жены Айтике всю свою любовь перенес на ребенка. Если Джапар грустил, Айтике тоже погружался в печаль. Если Джапар был весел, Айтике радовался, будто возносился на вершину счастья. Когда ребенок плакал, кости отца ныли, словно размозженные. Проклиная свою слабость, Айтике часто думал: «Мальчику тяжелы мои слезы», но скрыть их не мог. Иногда он говорил с Джапаром, как со взрослым:

— Вырастешь ли ты? Будут ли тебя называть «сын такого-то»? Ведь я только для тебя и живу.

Мальчик не выговаривал «р» и «ж», и это делало его особенно милым.

— Атаке, я пить хочу,— сказал он, запыхавшись после игры. — И Куткалбас пить хочет. Посмотли, атаке, он язычок высунул.

Радуясь лепету ребенка, отец опустил его на землю со словами:

— Ну, слезай, будем пить.

Он протянул мальчику медный чайник с длинной шейкой.

— А как же мы Куткарбасу дадим? Для него посуды нет. Сейчас дойдем до богатого двора—он там напьется.

— Нет, я Куткалбасу в своей тюбетейке дам,—заторопился Джапар, подставляя засаленную, старенькую тюбетейку.

— Не надо, милый, он запачкает ее.

— Ничего не будет,— капризно настаивал Джапар. Он положил тюбетейку на землю и, подвигая ее собаке, позвал:

— На, Куткалбас, на!

Пес понюхал тюбетейку, посмотрел мальчику в глаза и сел в сторонке.

— Вот видишь, он не хочет. Идем!

Мальчик поднял тюбетейку, не решившись сказать, что в ней нет воды. Айтике надел истрепанный чапан, поднял с земли курджун, в одну сумку положил комуз, сапожную колодку, деревянную фигурку козлика, тесло, другую раскрыл шире и позвал Джапара:

— Иди, милый. Ты очень устал.

Взвалив на плечо курджун, Айтике пошел по дороге, подымая пыль жилистыми ногами. Мальчик, свесив руки из курджуна, разговаривал с собакой. Втроем они держали путь на Коканд.

БОГАТЫЙ ДВОР

Последние лучи заходящего солнца подожгли облака, озаряя окрестность алыми, словно кровь, бликами. Айтике остановился на берегу канала, сел, отер пот. Обветренное личико ребенка казалось в лучах заката изваянным из красного мрамора. Отец вынул мальчика из сумы и поставил на ноги. Джапар присел, как подкошенный, и вскрикнул от боли:

— Атаке, ноги! Ноги, атаке!

У Айтике заныло сердце, но, затаив тревогу, он стал успокаивать мальчика:

— Ничего, ничего, милый. Ноги болят — значит растешь. Большим будешь. Ну-ка, это место?— приговаривал он, растирая онемевшие ножки ребенка.— А ну-ка еще вот здесь! Теперь вырастешь большой. Хорошие дети не плачут.

Мальчик, услышав, что он вырастет и что хорошие дети не плачут, посмотрел в глаза отцу и спросил:

— А когда я большим буду?

Айтике, черпая воду медным чайником, засмеялся и, обернувшись, сказал:

— Ты сегодня уже вырос, а завтра будешь еще больше.

Расковыривая черные мозоли на подошве, мальчик попросил:

— Хочу пить,— и, вытянув шейку, раскрыл рот.

Отец поднес к губам ребенка носик чайника. Потом оторвал от своего халата лоскут и перевязал им загноившийся палец на ноге мальчика. Умывшись, Айтике дал Джапару сухую лепешку, крошки положил себе в рот. Голодная собака, сев перед мальчиком, с надеждой смотрела ему в глаза и жалобно скулила. С языка у нее текла слюна. Мальчик жевал, не обращая на нее внимания. Собака не выдержала и, вскочив, просительно завизжала. Айтике было жаль ее, но он подумал: «Э, бедняга! Будь лепешка — и я бы ел, а не смотрел. Не то, что тебе, а и мне нет».

— На, на!— крикнул мальчик, услышав визг Куткарбаса, и кинул ему несколько глиняных комков. Так он делал всегда, когда хотел поиграть с собакой. Потом отломил кусочек лепешки и бросил ей. Айтике, притянув сына и поцеловав, сказал:

— Добренький мой! Зрачок глаз моих! Идем, в Коканде мы найдем богатый двор.

Слышав несколько раз от отца, что в богатых дворах дают работу и хлеб, Джапар захлопал в ладоши, вскочил на ножки:

— Пойдем! Пойдем!

Уже в сумерки они пришли в Коканд. Айтике стучался в ворота, спрашивал работу. Из калиток выходили женщины в паранджах, мужчины, подпоясанные тремя—четырьмя платками. Увидев изодранную одежду Айтике, одни гнали его:

— Уходите! Нет работы!

Другие раздражались:

— Не избавишься от этих нищих! Нечего подавать!

Те, у кого было доброе сердце, протягивали хлеб ребенку, спрашивали:

— Из каких вы мест, бесприютные?

Работы не находилось, в ночлеге отказывали. Наступала ночь, и Айтике быстро, как только мог, шагал от ворот к воротам. Мальчик уже дремал. Всякий раз, когда Айтике стучался в ворота, ребенок вздрагивал и спрашивал:

— Атаке, это богатый двол?— и снова засыпал.

Айтике, бормоча про себя: «Баям двор — бедным позор», утаивая от сына досаду, спокойно отвечал:

— Да, звездочка моя. Спи.

К просторным, изукрашенным резьбой воротам Айтике подходил уже изнеможенный. Что-то подсказало ему, что здесь он поест и переночует. Это чувство никогда не обманывало его. Сейчас Айтике казалось, будто оно шепчет ему об отдыхе. Обрадовавшись, он стал стучать в калитку.

— Это богатый двол, а? — еле слышно пролепетал мальчик.

— Да, милый, богатый двор.— Айтике снял суму с плеч, заглянул во двор. Вокруг большой, ярко горевшей лампы сидели люди. Айтике постучался опять.

— Кто? Кто?— крикнули со двора.

— Божий гость. Странник. Мастер на дутаре играть,— ответил Айтике.

Вышел плечистый, чернявый мужчина, прохрипел:

— Чего тебе надо?

— Мне? Мне работа нужна. Мои руки ко всякому ремеслу способны. Что ни потребуете, я сделаю. Другие не смогут, а я сработаю,— весело отвечал Айтике.

— Ловко! Твои руки, значит, ко всему способны! Из камня сапоги сошьешь?— хрипел чернявый.

— Нужный инструмент дадите—сапоги сшить не дорого стоит.

— Так. Какие же вам инструменты потребны?—зазвучала в темноте насмешка.— Называйте все, мы найдем.

— А если найдете...— Айтике запнулся.— Дайте нож такой, чтобы гранит резал, шило такое, чтобы камень прокалывало, дратву не какую-нибудь, а из песка сученую. А уж после того сапоги будут. И носите их сотню лет!— С последними словами он улыбнулся.

— Это вы своему отцу сшейте.

— Нет, байбача, вы же просили — вам только и сошью. Такие сапоги только вам и носить.— Айтике опять засмеялся.

Чернявый принял его шутку за насмешку и закричал сердито:

— Пошел! Пошел, дурак!— он толкнул Айтике во тьму улицы.— Убирайся вон! Чтоб я тебя не видел!

— Байбача, если работы нет, пустите переночевать. У меня ребенок,— принялся умолять Айтике.

— Этот дом не для нищих. Твое место вот где!— прохрипел он, указывая на землю у дувала, и ушел, хлопнув калиткой.

Джапар проснулся, вылез из сумы и потянул отца за полу старого халата:

— Атаке!

Перед глазами Айтике словно плыл густой туман, он шатался. Потом притянул мальчика к себе и зашептал:

— Звездочка ясная моя! Не будет тебя — кончатся дни твоего атаке... Жизнь ты моя.

Джапар, обняв отца за шею, что-то нежно лепетал ему на ухо. Черный пес пристально смотрел на людей, будто просил есть.

«НЕСЧАСТНОМУ РАБУ И УСТАТЬ НЕЛЬЗЯ»

С рассветом у ворот богатого двора можно было видеть человека, который, как нахохлившаяся птица, положил голову на поднятые колени и смотрел в землю. Это был печальный Айтике. У его ног, словно тебетей великана, лежала короткошерстая борзая. Собака свернулась рядом со съежившимся мальчиком, и когда тот ворочался во сне, она вздрагивала и плотнее прижималась к нему.

С высокого минарета раздался голос призывавшего к молитве муэдзина.

— Аллоо акбар! Аллоо акбар!

И словно его эхо, слева от Айтике послышался крик разносчика:

— Есть горячие лепешки! Кому горячие лепешки?!

Айтике, безучастно отнесшийся к азану, с надеждой встал навстречу лепешечнику. Муэдзин перегнулся через перила и, придерживая конец чалмы, крикнул:

— Эй, кафыр! Не на хлеб — на храм божий смотри!

Айтике обернулся, в раздумье зашептал:

— Храм божий — глиняная мечеть. Что она даст? Мне сейчас кусок хлеба дороже всего. Нет, нет, — я ошибся. Согрешил! Прости, боже! Отпусти прогрешения мои!— Схватившись руками за ворот, он повернулся к востоку.— О создатель! Не вмени мне это в вину. Ты сам наслал на меня эту мысль. Сам велел так подумать. Справедливо ли предать мукам за то, что ты сам позволил сказать?

Айтике стало легче, будто в этом споре он одержал победу над богом. Тяжело вздохнув, он отнял руки от ворота.

На улице показался мулла с черной кудрявой бородой, одетый в длинный халат с отвисшими полами. Айтике подумал: «Сколько рубах вышло бы из этой чалмы!»

— О кафыр, ты не умеешь сказать «здравствуйте»! — возмутился мулла.

— Господь не повелел мне этого,— смело ответил Айтике.— А вам тоже не повелел? Ведь и вы должны были сказать «здравствуйте». Или вам господь не поставит этого в вину?

Мулла смутился и, отступив, воскликнул:

— Помилуй, боже! Да ты не дьявол ли?

— Нет, ученейший,— заговорил Айтике языком образованных мулл.— Я могу поспорить с вами по шариату. Вдруг я больше вас знаю?!

Слово «шариат» он произнес чисто по-арабски, с гортанным «а», что обычно очень трудно дается простолюдину. Это произвело впечатление на муллу. Опасаясь собственной немощности в возникшем споре, он согнулся под тяжестью своего халата и, направляясь к мечети, крикнул:

— Пошел! Пошел, лодырь!

Айтике хотя и победил в споре, но был оскорблен.

— Есть горячие лепешки! Кому горячие лепешки?— снова огласил узкую улицу крик разносчика. Он держал на голове большой плетеный поднос с лепешками и шел, размахивая руками, будто балансируя. Казалось — разносчик танцует.

Джапар давно проснулся, но ему не хотелось вставать. Увидев разносчика с подносом, он запищал:

— Атаке, лепешки! Лепешки, атаке!

— Эй, пекарь, стой!— крикнул Айтике.

Разносчик быстро подбежал к ним, поставил поднос на землю и, перекидывая лепешку, услужливо спросил:

— Вам каких? Сколько берете?

— Одну дайте,— ответил Айтике по-узбекски. Денег у меня, сынок, нет.— Он распахнул халат и показал висевший на шее кетмень без рукоятки.—Сколько за это дадите?

Разносчик вырвал у мальчика лепешку и бросил ее на поднос. Ребенок с плачем протянул руки. Айтике затрясло, он принялся умолять разносчика, предлагая кетмень.

— Ради бога, дайте хоть одну. Стоит же он ее? Возьмите кетмень, сынок, возьмите.

— Я не пекарь,— ответил разносчик.— Я сам у хозяина работаю. Дувалы делать умеешь?

— Могу, сынок, могу,— подхватил обрадованный Айтике,— печи кладу, дома строю, седла рублю, дутары делаю, песни пою,— перечислял он свои занятия, мешая киргизские слова с узбекскими.

Пока Айтике разговаривал с разносчиком, Джапар и Куткарбас, глядя с надеждой на лепешки, глотали слюну. Разносчик, пожалев ребенка, сказал:

— Бери, бери.

Мальчик обеими руками вцепился в лепешку. Пес лег перед ним, в его глазах светилась просьба: «Мне тоже дай».

— Спасибо, сынок, спасибо,— благодарил Айтике, в третий раз предлагая кетмень.

— Нет, не возьму. Хозяину дувал делать надо. Ты как раз вовремя подоспел. Пойдем!

За вторым поворотом узкой улицы запах печеного хлеба защекотал в носу у Айтике. Подумав, что пекарня близко, он решил показать себя здоровым, сильным, выпятил грудь и распрямил плечи. Но это никак не изменило его щупленькой фигуры.

— Мир вам!— поздоровался он с человеком, сажавшим лепешки на раскаленный свод узбекской печки.

Пекарь, не ответив на приветствие, спросил грудным голосом:

— Ну, Ташбай, нашел?— и посмотрел на Айтике.— Справишься с работой? Ты не из киргизских богатеев будешь?

Пекарь был дряхл, в его бороде уже пробивалась седина.

— Ладно,— сказал он.— Мальчишка есть у тебя? Вот здесь будешь спать. Вот здесь дувал будешь бить. Три с полтиной получишь.

— Хорошо,— согласился Айтике, поглаживая по голове Джапара.— Вот ради него остаюсь. Он будет сыт— и ладно. А я работы не боюсь. У вас тоже есть дети?

Видя, что они договорились, Ташбай опять побежал с подносом, оглашая улицу криком:

— Э-э-э, есть лепешки горячие! Кому-у-у лепешки горя-а-а-чие?

— Это, наверное, наш хлеб?— заметил пекарь, увидев пол-лепешки в руках Джапара. — Деньги заплатили? А если и не заплатили — ничего. Слава богу, хлеба хватает. Не забудете и ладно. С расчетом торопиться не надо. Вы, должно быть, голодные,— сказал он и, тяжело ступая, пошел на внутренний двор.

Айтике подбросил мальчика на руках, прижал его к груди и, как всегда, заглядывая в глаза, зашептал:

— Стебелек жизни моей! Вырастешь ли ты? Будут ли тебя называть «сын такого-то»? Чувствуешь ли ты горе своего несчастного отца?

Джапар сполз с рук отца, осмотрел двор и, ухватив собаку за длинное ухо, заговорил с ней:

— Ты есть хочешь? Я тебе лепешки не дам. Не да-а-а-ам, — тянул он.—Ты заплачешь? На! На! — Он обнял пса за шею.— Атаке, дать ему?— и, не ожидая ответа, мальчик положил остаток лепешки в пасть Куткарбаса.

Айтике молчал, задумавшись о чем-то. Пес помахал хвостом, взглянул на мальчика, словно спрашивая: «Нет ли еще лепешки?»— и лег, облизываясь.

Пекарь вышел из внутреннего двора и сказал:

— Мы обычай забыли. Как твое имя? Меня Ашимахун-пекарь зовут. Деды наши, говорят, из Кашгара сюда переехали. Таранчинцы.

Айтике назвал свое полное имя.

— Значит, тебя можно Айтике-Сарык звать?

— Можно, хозяин, можно,— ответил Айтике, вопросительно глядя на бурдюк в руках пекаря.

— Вода очень далеко. На!— хозяин протянул бурдюк.— Пройдешь через базарчик, повернешь налево в ворота, за ними водоем бия. Оттуда и бери воду. Дувал делать будешь — воду оттуда носи.

Джапар пошел за отцом, но пекарь остановил его:

— А ты сиди. Отец сейчас придет. Лепешки хочешь?

Мальчик не послушался и, кликнув собаку, побежал следом за отцом.

Наполнив водой большой мохнатый бурдюк из козьей кожи, Айтике поднял его на плечи и понес. Но уже на середине пути его редкая бородка взмокла, в глазах помутилось. Айтике зашатался и остановился. «Это не оттого, что я бессилен, а оттого, что голоден»,— подумал он и

вспомнил, как утешение, вопрос хозяина: «Вы, должно быть, голодные?»

— Несчастному рабу и устать нельзя,— произнес Айтике и, сгибаясь под ношей, пошел дальше.

«МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЯВИТСЯ ОРЕЛ»

Минуло около года. Земля оделась в зеленый бархат. Пряный запах джиды, цветущей по берегам арыков, наполнял воздух. Заливаясь песнями, взвивались в небо жаворонки и камнем падали оттуда. Кетмени работавших дехкан блестели в лучах солнца. Казалось, будто это птицы клюют землю плоскими стальными клювами.

Вокруг двора Ашимахун-пекаря высилась недостроенная шестиугольная ограда. На дне большой ямы лежала замешанная с мякиной глина; сбитая в густую массу, она походила на кислое тесто. У ямы, сторожа брошенные на землю халат и кетмень, протянулся черный пес с чалой мордой. В его умных зрачках светилась понятливость. У дувала возился Джапар. Изредка поглядывая на него, собака широко разевала пасть, облизывалась и опять затихала. Мальчик бросил ей глиняную лепешку:

— На, Куткарбас!

Собака схватила глину и сразу же бросила, удивленно глядя на мальчика. Смеясь, он кинул ей вторую лепешку. Собака только понюхала. После третьей она едва повела носом и, обидевшись, легла с печальным взглядом. Почувствовав себя виноватым, мальчик вытянул губы трубочкой и сказал:

— Ты не хочешь есть? Ну, не надо. Я сам буду,— и стал жевать глиняную лепешку.

— На, возьми!— говорил он, протягивая собаке глиняного ослика.— Не хочешь? Я сам на него сяду. К атаке уеду. Что ты тогда будешь делать, а?

— А верблюда возьмешь?— спрашивал мальчик, водя перед носом собаки глиняной фигуркой.

Выведенная из терпения, собака с воем отскочила в сторону, как будто глина внушала ей непреодолимое отвращение.

Услышав вой, вышедший из калитки внутреннего двора Ашимахун схватил комок сухой глины и, ударив собаку, выругался:

— Э, дура, бродяга! Башку свою проглоти!

Собака с визгом бросилась прочь, хромая на подбитую лапу.

— Не тронь! Не тронь!—пронзительно закричал Джапар.

Айтике, услышав его голос, бросил бурдюк с водой и побежал к мальчику. Ашимахун, не заметив Айтике, погрозил Джапару пальцем:

— Чтоб ты сдох! Отцу твоему проклятье!

Не расслышав ругательства, Айтике спросил, хотя и нетерпеливо, но без гнева:

— Что случилось, Ашим-аке?

Вздыбившиеся волосы его рыжей бородки походили на торчащую шерсть перепуганной кошки.

— Ваша собака на небо воет,— ответил Ашимахун,— судный день зовет. Ее убить надо! Убить! Подзови и убей!

Мальчик уже обнимал пса за шею, успокаивал его:

— Куткарбас мой! Бедный Куткарбас. Лапка болит у тебя? Атаке, посмотри: он ее ударил,— жаловался мальчик, гладя собаке ушибленное место и посапывая носом.

— Если бы можно было позвать судный день, я бы давно позвал его,— возмущенно сказал Айтике.— Вам судного дня нечего бояться. Бог уготовал его, видно, только таким бездомным, как мы.

Ашимахун благодушно рассмеялся:

— Не сердись. Пойми: она тебе во вред воет. Тебе хуже будет. Ну, ладно, твое дело.

Когда Ашимахун скрылся за дувалом, Джапар бросился к отцу.

Неприятности, подобные происшедшим, удручали Айтике. На лбу его выступил пот. Айтике обнял мальчика и, заглядывая ему в глаза, зашептал свое обычное:

— Счастье мое, вырастешь ли ты? Выйдешь ли в люди? Будут ли тебя называть «сын такого-то»? Или ты умрешь в горе? Скажи мне, жеребеночек мой, скажи!

Джапар, насупившись, смотрел на отцовские губы, с которых уже тысячу раз слетали эти слова, и запачканными в глине руками трогал редкую отцовскую бородку. С тех пор, как мальчик стал понимать состояние отца, в минуты, подобные этой, он всякий раз со вздохом целовал его в щеку и молча сползал на землю. Так он сделал и теперь. Потом, подойдя к своим игрушкам, выбрал фигурку собаки и, показывая ее отцу, сказал:

— Вот мой щенок. И лепешка есть,— протянул он ладонь с ровным глиняным кругляшом.

— А это что?— улыбнулся Айтике, рассматривая новые поделки Джапара, расставленные у дувала.— Человек? Может, ты сам?

Фигура, величиной с новорожденного ребенка, стояла на коротких ногах, склонив голову на бок; за спиной у нее висело что-то похожее на чурбан, усаженный травинками. Айтике угадывал в этом изваянии человека.

— Что это?— повторил он вопрос.

— Это ты бурдюк с водой несешь, а я тебе лепешку испек.

Радуясь смышленности ребенка и одновременно жалея его, Айтике вспомнил жену, навек положенную в сырую землю.

— Не дожила ты до этой радости! Не увидела, как сын вырос! Он бы тебя в старости кормил...— зашептал Айтике и в мозгу его одна за другой поплыли мысли. Он взял комуз. Мальчик торопливо достал из курджуна игрушечного козлика и надел на руку отца петельки ниточек от подвижных ножек игрушки. Айтике сел, как перед слушателями, и, пощипывая нежноголосые струны комуза, запел.

Мальчик смотрел на прыгающего перед ним игрушечного козлика. Глаза у Джапара были китайские: с узкой прорезью, без складки на верхнем веке. Он всегда смотрел пристально, печально и жалобно, словно о чем-то просил и боялся, что ему откажут.

— Атаке, сделай ему большие рога,— попросил мальчуган.— Такие сделай, как у того, что Атабеку отдал.

Козлик и вправду был комолый, а тот, о котором напомнил Джапар, был украшен большими, торчащими в стороны рогами и обтянут куском кожи с жеребенка.

— Ладно, милый, ладно,— сказал отец.— Я рога из урюка сделаю. Смотри-ка, ты не забыл того козлика, что я Атабеку отдал? Умный вырастешь. Я тебе лучше того сделаю, хорошо?

Джапар кивнул головой.

Укладываясь спать у дувала, Айтике расстелил циновки. Мальчик собрал игрушки. Любимые он поставил у изголовья и разговаривал с ними и с отцом, пока не заснул. Обычно после того, как засыпал Джапар, Айтике ходил за

водой. Но на этот раз он сел возле сына и долго играл на комузе.

Ташбай, продававший лепешки Ашимахуна, спал под высоким развесистым урюком у калитки, что вела во внутренний двор. Набегавшись за день и накричавшись: «Кому горячих лепешек! Кому горячих лепешек!»—Ташбай так уставал, что достаточно было ему упасть на свою жесткую постель, как он сразу же начинал храпеть. Сегодня, услышав неожиданно звон комуза, Ташбай превозмог усталость и подошел к Айтике.

— Видно, пришла охота играть. Вы, наверное, чем-то обрадованы? Или опечалены? — заговорил он, усаживаясь перед Айтике.— Ваши руки ко всякому делу способны. У вас, наверное, и дом, и хозяйство были? Где же ваша семья?

Айтике отложил комуз, стал рассказывать о своей жизни.

— Вот какое дело!— изредка прерывал рассказ Ташбай.

Айтике, вздыхая, продолжал:

— Вот и стали мы нищими. Один танап земли был и тот Атабек отнял. После того как умерла его мать,— Айтике кивнул в сторону Джапара,— я трижды женился на таких же бездомных, как сам. И ни с одной не ужился. Все из-за него. Поживу месяц—два и разойдусь. Когда мать бьет ребенка — ему хоть бы что, стерпит. А мачеха чуть щелкнет—будто топором ударила. Бывало весь в комочек сожмется, голову ручонками прикроет, вскрикнет: «Апа, апаке, где ты?!»

У меня сердце ныло. Если я три раза слышал крик ребенка, на следующий же день мачехи в нашей семье не было. Нет, нет, не все женщины злые. Мальчика запугала так, что он заболел, вторая жена. Мастерица была на все руки: и обед сварить, и работать. Но язык имела такой, что поискать. Как змеиным жалом, до костей пронизывала. Мальчика веселкой ударит, за уши отдерет да еще шипит:

— У, несчастный! Горе тебе на роду написано!

А то щиплет до синяков и приказывает:

— Молчи!

После этого он, как только кто замахнется, сразу голову ручонками прикрывает. Последние две мачехи не би-

ли его, так иногда, если под руку подвернется, слегка шлепнут. А он испугается, личико ладошками закроет, на землю упадет и плачет:

— Атаке, скажи ей, чтобы не трогала!

Сердце мое этого не выносило. Об одном все время думал: лишь бы он не плакал, лишь бы его никто не обидел. Хотя бы скорее вырос да в люди вышел. Посмотрите: из него мастер получится.— Айтике показал Ташбаю вылепленные сыном игрушки.— Будет жив — кусок хлеба заработает. Как знать, может, он мастером станет, будет украшать резьбой ворота — делать рават-дарбаза. Ребенок все равно что яйцо: никто не знает, что внутри. Может быть, появится орел.

«АПАКЕ Я ТОЖЕ ВЫЛЕПЛЮ»

По всей Ферганской долине, отягощенные урожаем, млеют в душном зное сады. Урюк склонил к земле развилистые, как рога горного козла, ветви, унизанные словно для пиршества плодами. Чуть подует ветерок, плоды сыплются градом, устилая землю. Перезрелые, темные, как опиум, они испускают сладкий, густой запах.

Когда созревал урюк, Ашимахун обычно зазывал с базара бедняков, искавших работы. Стараясь казаться участливым, он говорил:

— Идите ко мне. Урюка ешьте сколько хотите. И другая пища будет. Только помогите продать. Конечно, и деньги, смотря по работе, получите.

Ашимахун всегда собирал большой урожай плодов, и своя семья не могла управиться с ним. Поэтому хозяин поручал нанятым батракам продавать урюк, перезрелые плоды сушить на солнце. Зимой он мешками возил светлый, как золото, урюк, инжир и джиду в город, где на них были высокие цены.

В том году, о котором идет речь, урожай на фрукты был особенно хорош. Но батраки, вопреки ожиданиям Ашимахуна, не находились. Он не залучил ни одного из тех, которые обычно ходили по улицам с кетменем или топором и кричали:

— Дешево! Дешево! Дешево буду работать! У кого работа есть?

Теперь эти люди, вместо кетменей и топоров, взяли в руки винтовки, надели похожие на шапочки беркута шлемы со звездой и ушли на Бухарский фронт драться за советскую власть. Сидевшие прежде на базаре длинным рядом в ожидании, пока их позовут работать, они теперь исчезли враз, как перелетные птицы. Нанятые с большим трудом три старухи и два старика да Айтике с Ташбаем, работавшие этим летом у Ашимахуна, не удовлетворяли его. Сколько бы они ни усердствовали, Ашимахун бранил их.

Обливаясь потом, он сидел под деревом, попивал чай и посматривал на рабочих. Увидев однажды, что старики присели в тень, Ашимахун вскочил, словно обжегшись, и закричал:

— Эй, лодыри! Мой хлеб жрать мастера, а как работать — устаете быстро! Это что такое?!— Он заложил руки назад и, выпятив живот, подбежал к батракам.—Вставай, вставай! Работай!

Айтике, опустив на землю плетеный поднос, смотрел на хозяина. Джапар затормошил отца:

— Атаке, сорви мне вон ту.

— Ладно, милый. Которую? Вон ту большую?

Айтике взял из рук мальчика длинную палку, но как он ни тянулся, не мог достать. Пригнув ветвь, он стал сбивать плод. На землю упало сразу несколько. Увидев это, разъяренный хозяин оставил стариков. Вытянув шею, словно кукарекающий петух, он накинулся на Айтике:

— Эй, лодырь! Попробуй съесть — пузо лопнет!

«Лодырь» было самым обидным для Айтике словом. Он вздрогнул всем телом и, сдерживая гнев, сказал:

— Не сердитесь, хозяин! Ваш ребенок попросил.

Он назвал Джапара ребенком хозяина из учтивости, как принято у киргизов.

— «Ваш ребенок», говоришь? Сам ты несчастный и твоего мальчишку бог сделает несчастным!

— Не будьте кафыром!— вскрикнул Айтике. В своей горестной жизни он слышал немало грубостей, но теперь не вытерпел.— Хозяин, не будьте кафыром! Вы не бог. Счастье не в ваших руках. Этот мальчик — мой сын, моя жизнь. Может быть, у него счастье впереди, а ваше счастье, может быть, уже покидает вас!

У Ашимахуна глаза полезли на лоб. Ему показалось, что счастье на самом деле покидает его и что гниющие плоды урюка, усеявшие землю в саду, шепчут: «Мы—твое счастье, а нас уже нет». То, что исчезли люди, искавшие прежде работу, для Ашимахуна, действительно, было началом несчастья. Ему представилось неведомое и страшное, в глазах потемнело.

— Пошел вон, дурак! Пошел!— закричал он, схватив Айтике за ворот. Тот дал протащить себя немного, потом уперся:

— Дайте расчет — уйду.

— Расчет? Расчет я советской власти дам. Это твоя власть. Пошел вон! Я тебе!..— бесновался хозяин, выкрикивая неприличные ругательства.

Джапар, понимая, что он — виновник этой ссоры, засопел и швырнул ягоды.

— Отпусти отца,— твердо сказал он.— На твой урюк!

Мальчик заплакал и худыми грязными ручонками вцепился в одежду Ашимахуна.

— А, собачий сын, не пачкай меня!— завопил хозяин и ударил Джапара. Тот с пронзительным криком покатился по земле.

— Да сгорит твоя борода, ишак!— толкнув толстого Ашимахуна к дувалу, вскрикнул Айтике.

— Караул! Ташбай, где ты? Держи, бей его!— завизжал хозяин, жирными руками замахиваясь на Айтике.

Мальчик позвал собаку:

— Куткарбас! Куткарбас!

Черная борзая собака в мгновение ока вцепилась зубами в икру Ашимахуна.

— Возьми, Куткарбас, возьми!— травил Джапар, бегая вокруг.

Умный пес поднялся на задние лапы и схватил Ашимахуна за грудь. У Айтике текла кровь из носа, но он не отпускал Ашимахуна. Рабочие не торопились помочь хозяину, думая: «Мало ему!». Пока они дошли до арбы, где завязалась драка, первая в жизни Айтике, пес успел искусать заплывшую салом грудь Ашимахуна.

Когда Айтике отошел от хозяина, собака тоже отпустила его. Испуганный Джапар, обняв отца, всхлипнул:

— Уйдем, атаке. Убьет! Уйдем.

Ашимахун упал на землю и не мог опомниться. Старухи в паранджах, окружив его, вскрикивали:

— Что же теперь делать? Что же теперь делать? Поднимите его. Поставьте на ноги! — звали они стариков.

Один из них, выругавшись в пространство, пошел к дому. Остальные постояли над Ашимахуном, потом подняли его и отвели в тень, расспрашивая о случившемся. Ашимахун стонал и ничего не мог сказать.

— Принеси воды!— послал один старик Ташбая.

Тот с удивлением посмотрел на Айтике и послушно побежал к арыку. Айтике, взяв Джапара за руку, направился с ним к балагану. Стоявшие вокруг хозяина перешептывались, кивая в сторону Айтике. «Они убьют меня,— подумал тот.— Ладно! Смерти все равно не миновать. Умру и кого-нибудь заберу с собой». Он убыстрил шаг, стараясь скорее скрыться из виду, но едва успел взять в балагане чайник и палку, как увидел Ташбая. Сердце Айтике замерло. Собака, не разделяя его опасений, высунула язык и легла.

— Атаке, Ташбай тебя побьет,— встревожился мальчик.

— Не побьет. Будет драться — я его сам побью,—ответил Айтике, хотя и опасался хозяйского работника.—Не плачь. Ты уже джигит. Бить будет — помоги мне. Хватай его за ноги.

Мальчик молча кивнул головой. Айтике чувствовал себя неловко. Он по-своему приготовился к драке: отхаркался и сел. Ташбай, подбежав, огляделся: не видит ли кто,— и, протягивая кувшин, спросил:

— Воды попьете?

Потом сел под большую урючину.

— Пейте. Вы очень хорошо поступили. Теперь вам уходить надо, а то хозяин убьет вас. Хотя бы и не подрались, он все равно ничего не заплатил бы. По его расчету не вам с него получать, а вы ему доплачивать должны.

Айтике, напившись, отозвался:

— Спасибо, милый, спасибо. Мы из Тулейкена, я вам говорил. Вот пять лет работал — пять грошей от хозяина не видел. Теперь конец этой работе.

— Я в союз батраков записался. Тоже, наверное, уйду. Прощайте, может, еще увидимся,— сказал Ташбай.

— Прощай, Ташбай. Будь здоров!—ответил Айтике.— И в самом деле, видать наше время пришло. Будь что будет — я в аил ухожу.

— Атаке, куда пойдем?— спросил Джапар.

— На родину пойдем, сынок.

Джапар бросился укладывать в курджун свои глиняные игрушки.

— Оставь это, сынок,— посоветовал Айтике.— Зачем тебе глина. Куда ни придем, везде новые слепишь.

Мальчик заупрямился:

— Хотя вот это возьмем,— выбрал он ослика.— Ребятам в аиле покажу. Я научу их лепить.

Айтике согласился:

— Ладно, возьмем, покажешь.— Он завернул ослика в старую рубашку и положил на дно курджуна.— Ну, идем в свой аил.

Прижав под мышкой козлика с подвижными ножками, Джапар спросил:

— А где наш аил?

— Вон в тех горах. Ты там родился,— ответил Айтике и взвалил суму на плечи.

Черная борзая помахала хвостом, обнюхала очаг у балагана. Убедившись, что караулить нечего, она взвизгнула и побежала за хозяином. Джапар, заглядывая отцу в лицо, со вздохом спросил:

— Апа там умерла?

— Да, милый. Она лежит в той земле. Теперь туда пойдем.

— Атаке, посмотри,— показал мальчик ослика и добавил:— Апаке я тоже вылеплю.

«БЕЗ МЕНЯ АТАКЕ БУДЕТ ПЛАКАТЬ»

Старый одинокий тополь чуть покачивает верхушкой под горным ветром. Каждый лист его редкой кроны кажется изображением сердца. Легкие прикосновения ветерка заставляют трепетать эти бесчисленные зеленые сердца. Никто не знает возраста тополя. Может быть, у него и ровесников уже нет, и стоит он на отшибе одинокий, как столетний бобыль. Молодые ивы, что растут выше, на склоне, очень пугливы: чуть подует ветер — они

гнутся до земли, словно кланяются своему деду-тополю. Кто бы ни проезжал мимо, все смотрят на тополь. Одни удивляются, почему он вырос здесь в одиночестве. Другим интересно, кто его посадил. Люди считали это дерево священным. Бездетные женщины привязывали на его ветви длинные разноцветные полоски материи, резали в его честь скот, вымаливая ребенка.

Сегодня путники присматриваются к тополю особенно внимательно, потому что под ним поставлен шалаш и у входа лежит оборванный мальчик. Он что-то чертит на песке и разговаривает сам с собой, а вокруг него разбросаны глиняные игрушки: ослик, собака, верблюд, козел, курица, кошка, фигурки людей.

Два всадника, ехавшие со стороны гор, остановились перед шалашом.

— Эй, мальчик!— позвал один из всадников.

Мальчик не слышал. Разравнивая ладонями песок, он рисовал курицу. Всадники направили лошадей к шалашу. Черная борзая, лежавшая возле мальчика, вскочила и залаяла. Мальчик посмотрел на нее через плечо:

— Чего ты испугалась?— спросил он, улыбаясь.

— Иди сюда, иди! Посмотри-ка,— показывал он собаке, продолжая рисовать. Один из всадников обернул плетку вокруг рукоятки и бросил ее. Мальчик, приняв плетку за прыгнувшую змею, вскочил и закричал:

— Атаке!

— Не бойся,— успокоил бритый смуглый джигит.— Ты чей? Откуда?

Джапар не привык разговаривать не только со взрослыми, а и с детьми. Он смутился, заморгал, как сова, длинными ресницами и опустил глаза. Джигит засыпал его вопросами, но мальчик молчал и, положив палец в рот, робко посматривал исподлобья.

— Это твои игрушки? Вот это верблюд?— спрашивал смуглый джигит, спрыгнув с лошади и перебирая вещицы мальчика.— А это что? Кошка?

Мальчуган вынул палец изо рта и, наконец, решился разговаривать:

— Да. А вот ослик, козел. А это апаке.

Смуглый джигит, радуясь, что вызвал мальчика на разговор, улыбнулся своему спутнику — сгорбившемуся в седле старику — и продолжал расспрашивать:

— Ты чей? Твой отец Казакбай?

Оборвыш улыбнулся и протянул:

— Не-е-ет. Меня Джапаром зовут. А ты кто, дядя?

Старик слушал, опершись на луку седла. Ветер развевал его большую седую бороду.

— Кто я?— переспросил джигит.— Сатар Торобаев, твой родич. Ты меня не видел. Ты тогда вот такой был,— показал джигит на глиняную куклу.

— И-и-и-и!— удивленно протянул Джапар.

— А, может быть, я тебя не узнаю? Как твоего отца зовут?

— Мой отец — Айтике,— доверчиво сказал мальчик.

— Какой Айтике?— вмешался в разговор второй всадник.— Айтике-Сарык?

— Нет, просто Айтике,— возразил Джапар, не зная полного имени отца.

— Твой отец на комузе играет? Прыгающий козлик у него есть?

— Ну да! Когда на комузе играет, козлика за ниточку дергает, а козлик прыгает,— обрадовался мальчик.—Вон комуз,— протянув руку к шалашу, сказал он.

— Ну-ка принеси,— попросил старик.

Джапар осторожно поднялся с песка, чтобы не нарушить рисунок.

— Мы ведь друзья. Жив значит. Живет! Живет!— воскликнул старик. Спрыгнув с седла, он взял комуз и погладил его серебряные инкрустации. Потом прижал мальчика к груди, поцеловал и спросил:

— Где отец, милый? Это сын моего друга,— пояснил он смуглому джигиту.— В пятнадцатом году Атабек разорил его. Я тогда ювелиром был и звали меня не Темирбек, а Бедный зергер. Это вот я разукрасил серебром. Когда у Айтике родился Джапар, я пришел навестить его и подарил этот комуз. Будь здоров, милый,— заговорил опять старик с Джапаром.— Где же отец?

— Он сказал, что завтра придет. К моему дяде по матери пошел. Мы скоро с ним переедем.

Сатар Торобаев, слушая разговор старика с мальчиком, перебирал игрушки и радовался умению, с каким они были вылеплены.

Старик не отставал от Джапара с расспросами. Мальчик рассказал о Маргелане и Коканде, где они жили с от-

цом, и о том, как отец подрался с хозяином, а черная борзая помогла, и об игрушках, что пришлось оставить в балагане. Когда он останавливался, старик подбадривал его: «А потом что было?»

— Вы уже чуть не плачете,— вмешался Сатар Торобаев, заметив волнение старика.— Наверно, вы с Айтике вместе выросли, вместе бабочек ловили и по оврагам лазали птенцов искать?

— Ну да, милый. Такие друзья были — последнее зерно делили пополам. Я много старше его. Что только он, бедняга, не перенес. Дальше поедем — расскажу. Ты потом сам с ним поговоришь.

Зергер провел кистью руки по струнам комуза и, перебирая их пальцами, продолжал:

— Много лет прошло, а он до сих пор бедствует.

Увидев в руках Сатара фигурку козлика, старик потянулся к нему.

— Да это же настоящий козел. Дай-ка сюда!— Он повертел в пальцах козлика и принялся рассматривать другие игрушки, вылепленные Джапаром.

— Иди ко мне, братик мой. Иди, маленький ваятель!— приласкал мальчика Сатар.— Поедешь в интернат, станешь пионером, будешь носить красный галстук, стихи читать. Там ребятам шоколад, печенье дают,— говорил Сатар, но мальчику все эти слова были незнакомы, и он молчал.

Сатар подумал про себя: «У несчастного отец от угнетения еще не освободился». Ему стало понятно, почему развитие ребенка намного отстало от его природных способностей. «Батрак!— продолжал он рассуждать мысленно об отце Джапара.— Какому-нибудь мироеду в лапы попался. Таких темных еще много».

— Джапар,— сказал Торобаев,— ты сын бедняка. Я тебя учиться возьму. Мы тебя оденем, кормить будем, жить будешь в хорошей комнате. Все — бесплатно. Таких ребят, как ты, у нас много. Я у них начальник, воспитатель. Будешь учиться?

Только теперь Джапар понял. Его узкие карие глаза широко раскрылись. Он сжал пухлые губы, наморщил лоб и зарделся от смущения.

— Ну, скажи, милый, будешь учиться?— Торобаев погладил мальчика по голове.— Посмотри-ка, тюбетейка

у тебя очень старая. Я тебе новую дам. Карандаши, книги, бумагу — все дам. Поедешь?

Мальчик молчал. Он думал, что если разлучится с отцом, тот потеряет его. Джапар представил себя голодным и одиноким в безлюдной пустыне. И все же предложение Сатара расшевелило его. Что-то внутри шептало: «Поезжай, поезжай!»

— А отец? Отца возьмешь?— спросил он.

— Отец взрослый. Он тебя навещать будет. И ты к нему будешь приезжать. Это же недалеко.

— Я скажу отцу. Когда он приедет, поеду. А он тебя найдет?

— Найдет,— заверил Сатар.— А я лучше подводу пришлю. Ты на ней приедешь.

Слова «подводу пришлю» очень обрадовали Джапара: до сих пор ему удавалось только влезать на арбу, ездить же на ней не приходилось. Теперь его воображению представились огромные колеса, и возможная поездка показалась невиданным счастьем.

— А игрушки с собой взять можно, дядя?— спросил Джапар.

— Конечно, можно. А там еще лучше этих вылепишь, — с улыбкой ответил Сатар.

Мальчик прижался к нему и вздохнул:

— Если атаке отпустит меня, я поеду. Но без меня он будет плакать.

РАССКАЗ ЗЕРГЕРА

— Да, я говорю это так же твердо, как тверда тамга, выбитая на камне,— сказал зергер.— Отца мальчика зовут Айтике-Сарык. В молодости он цветком среди джигитов был. Где кумыс, бывало,— там он кумысочерпий, где девушки — он скрипач. На все руки мастер. А жена у него была особенная искусница. Вышивала такие узоры... от красоты ослепнешь. Циновку сплетет — залюбуешься. А какие ткала джабыкбаши, тегеричи! О характере уж и не говори. Кажется, все бы за него отдал.

— Ее ведь уже нет в живых? — перебил Сатар.

— Нету, нету. Будь она — разве бы они бродяжили! Умерла она. Ее смерть и сейчас у меня перед глазами. Несчастная от чахотки скончалась. Пришел я к ним, вижу — Айтике ей голову поддерживает.

— Здравствуй, Уулбала, как поживаешь? — поздоровался я и сел возле. Глянул ей в лицо и перепугался: на человека непохожа, одни кости. Айтике совсем духом пал, смотрит мне в глаза и молчит.

— Видишь, зергер,— слабым голосом сказала Уулбала,— вот я какая стала.

Она всегда радовалась, когда я приходил. Бывало скажет:

— Что ты так долго не был у нас?

Заранее припасет что-нибудь вкусное, угостит. Сидит веселая, шутит. Когда увидел я ее больную, глаза у меня слезами налились, язык словно отнялся. Она обо всем, что я про себя таил, догадывалась, наперед знала, что я сказать хочу.

— А что еще говорила она перед смертью? — спросил Сатар.

Глядя на луку седла, зергер продолжал печально:

— Протянула она мне худую руку и попросила: «Посмотри на меня, зергер. Пульс мне потрогай. Я ведь умру».

Рука была холодная, как лед. Пульс чуть бился. Я понял: жизнь из нее уходит. Мальчику тогда года три было.

— Ну как? Есть еще надежда? — сказала Уулбала и сама ответила: — Нет, чувствую — смерть идет. Я от вас ухожу,— простонала она жалобно и заплакала. — Отец моего сына[1], где Джапар? Покажи его мне. Джапар, милый! Единственный мой, звездочка моя! Как ты теперь будешь!—Умирающая погладила сына по головке и поцеловала.— Отец моего сына, ради меня, береги его. Я не вижу вас! Открой дверь,— и она пошевелилась, пытаясь повернуться к двери.— Солнце светит?

— Нет, солнце уже село, темно,— сказал Айтике.— Утром я вынесу тебя. Посмотри на Джапара. Неужели ты оставишь его? Посмотри на своего Джапара.

Редкая бородка Айтике заблестела слезами.

— Не мучайся, Уулбала, лежи, — успокоил я ее поднял мальчика.— Пульс у тебя хороший.

— Живите без меня в согласии. Ты присмотри за Сарыком, он совсем загоревал. Отец моего сына, уложи меня осторожнее,— попросила Уулбала.

---

[1] По старому обычаю женщина у киргизов не имела права называть мужа по имени и, когда обращалась к нему, говорила: «Отец моего сына» или «Отец моей дочери».

Айтике переложил ее голову на подушку, взял у меня Джапара, прижал его к груди и, глядя на жену, стал жаловаться:

— Что же ты с нами делаешь? Неужели мы без тебя останемся? Его растить надо. Как нам без тебя? Что делать? — и повесил голову.

— Нет у меня сил,— простонала бедная женщина.— На бога обижайся: он разлучает нас. А я что могу? Не забывай меня, и сын мой единственный пусть помнит мать. Могилу ему мою покажешь, чтобы он пришел ко мне. В сиротстве без слез не обойтись. А ты, если меня уважаешь, не обижай Джапара.

Мальчик не понимал, что мать умирает, но ему было страшно. Он сполз с рук отца и зашептал: «Апа, апа».

Уулбала подняла руку и слабым голосом попросила:

— Отец моего сына, вынеси меня за дверь. На мир посмотрю.

Хотелось ей с белым светом попрощаться. Айтике передал мне мальчика, поднял жену на руки, поднес к двери.

— Темно уже,— говорит,— ничего не видно.

— Ах, как жалко,— сказала умирающая, широко открыла глаза, огляделась и промолвила чуть слышно:

— Не поминай лихом, Джапар... — протянула руку к ребенку.

Не успел Айтике взять у меня перепуганного мальчика, как Уулбала закрыла глаза, рука ее стукнулась об пол, не дотянувшись до сына... — Голос старика осекся.— Так вот... Айтике постигло несчастье!

Старик умолк. На него нахлынули воспоминания. Мысли его витали где-то далеко.

— А что было дальше с Айтике? — спросил Сатар.

Старик вздрогнул, словно на него брызнули холодной водой.

— Дальнейшая судьба его горестна,— тихо ответил он, отер глаза и, протянув руку, добавил: — Вон, видишь, под горами наш аил. Аил моих родственников. Когда у меня умерла жена, я к младшему брату жить перешел. Сам знаешь, детей у меня не было. Однажды на рассвете я пошел в Ош. Вижу: идет мужчина, ребенка несет. Догнал его — это Айтике. Увидел он меня и заплакал. Как вспомню, сердце заноет. Я его спросить не успел, он сам заговорил:

— Разорился я, зергер, Атабек юрту мою сжег. Одна корова была — и ту увел. Никто ему сказать ничего не посмел, самого меня люди едва отняли.

— Что же ты сделал? — спрашиваю.

— Да что я мог сделать? Его новая жена-красавица — мне дженге. Сам знаешь, она и работать, и обед сварить мастерица. После смерти жены мне по обычаю на вдове старшего родича жениться полагалось. Я и хотел ее в жены взять. Она, конечно, не на мою бедность польстилась, когда обещала выйти за меня. «От Джоробая детей у меня не осталось,—говорит.— Сарык дух своего старшего родича чтить будет и моих надежд не обманет.» Я не знал, что она полюбилась Атабеку. Говорили, когда тот посватался, она будто бы сказала: «Кроме, как за Сарыка, ни за кого не пойду. Он и юрте, и скоту — хозяин». Ну, а что дальше было, уже сам знаешь. Атабек силен. Вечером приехал с джигитами, юрту сжег. Самого меня убить хотел, едва одноаильцы отняли. «Не сегодня— так завтра убью»,— говорит. Приказал: «Завтра же или пусть сам сдохнет, или уходит, куда глаза глядят». Всем объявил, что кто посмеет помочь мне, голову того в Ак-Буру бросит.

Рассказал он это и горько заплакал. А я чем ему помогу? До Оша вместе дошли. Отдал ему два рубля, на которые собирался рису купить, проводил до старого города.— Старик посмотрел на Сатара.— Не приведи господь вам и во сне это видеть! С тех пор Айтике как в воду канул. Где жил, что делал — никто не знал. Теперь вот только его сынишку повстречали. Горе его — выше горы. Вскоре после того, как он ушел, советская власть пришла в широкий мир, а он, как видно, еще старое иго с себя не сбросил,— закончил старик.

Сатар долго молчал. Лошади пошли через Ак-Буру, погрузив морды в воду, стали пить.

— Советская власть еще очень молода,— промолвил Сатар.— Есть еще эксплуатируемые: баи работников на собрания не пускают. И не все батраки знают свои права. Ваш друг, очевидно, один из таких. Находить их и вызволять — ваше дело.

Зергер довольно улыбнулся:

— Да. Это наше дело. Я с тех пор, как стал членом батрацкого комитета, многих нашел, многих от баев

освободил. Завтра к Айтике пойду. Я только об этом сейчас думаю. Атабеку продналога прибавим. Пока он жив — беднякам воли нет.

Сатар очень обрадовался словам старика, удивившись правильности его суждений.

— Хорошо,— одобрил он,— очень хорошо. Айтике до сих пор, наверное, боится Атабека. Вы его в батраки впишите, Атабека заставьте расплатиться. Мальчик у Айтике диковат, людей боится. Вы заметили? Мы его в интернат примем. Видели, какие он игрушки лепит? Мастером станет.

— Завтра утром я буду у них. А ты? — спросил старик.

— Я от вас не отстану.

«ЭТО — ТАЛАНТ»

Плотный смуглый мальчик с красным галстуком, выйдя из общежития интерната, осмотрелся и пошел, оглядываясь по сторонам. Из-за дувала выглянул скуластый хромоногий паренек. Он пронзительно свистнул и снова присел. Мальчик в галстуке перепрыгнул к нему.

— Идем ловить вора. Мою рубашку украл. Звал его играть — не пошел, — сказал пришедший, подняв голову над дувалом.

— Не видно? — спросил хромоногий.

— Нет. Он, наверно, и сейчас ворует. Пойдем, скажем Сатару агаю[1].

— Как бы нам не ошибиться!

— У него и отец вор. Не ошибемся, вот увидишь.

Худой старик, шедший по дороге с ведерком из верблюжьей кожи, увидев ребят, остановился.

— Эй, дядя, айран продаешь? — крикнул смуглый мальчик, но разглядев человека с ведерком, испугался и толкнул товарища локтем.

— Нет, мальчик, не продаю, — ответил старик.—Пить будете? Вы из интерната? Айтикеев жив-здоров?

Мальчики смущенно переглянулись. Старик ждал ответа, но они молчали, ковыряя ногтями дувал.

---

[1] Со словом «агай» дети обращаются к учителю.

— Что же вы молчите? Такой тихий русый мальчишка. Год назад сюда поступил. Или не знаете его? Может, вы новички? Идите сюда, жеребята, выпейте айрану.

«Мальчик умер или тяжело болен. Ребята колупают дувал — нехорошая примета»,— думал старик, и страх сжал его сердце.

Мальчики посматривали друг на друга, словно говоря: «Ты скажи. Нет, ты!» И оба продолжали молчать. Айтике подошел к ним, протягивая ведерко.

— Выпейте, милые!

Смуглый мальчик сморщил нос:

— Не буду пить. У тебя ведро старое. А я тебя знаю,— и он снова толкнул товарища локтем.

Тот ответил укоряющим взглядом, взял ведерко и сделал пять—шесть глотков.

— Пей, милый. Ведерко хоть старое, да чистое,— сказал Айтике.

Хромоногий шепнул товарищу:

— Не говори «ты». Сатар-агай велел говорить «вы».

Плотный мальчик, пристально глядя на Айтике, сказал:

— Я сын Атабека. А ты Айтике-Сарык?

— Гм, вот как! — удивился старик.— Да, я Айтике-Сарык. Ты давно здесь?

— Уже месяц.

— Отец тебя, наверно, как сироту сюда отдал? Говорили ведь, что детей богатых не принимают.

— Не знаю. Я взял да поступил. У отца землю отобрали. Теперь он небогатый.

По примеру отца, сын Атабека считал Айтике «низким батраком, красным шайтаном». Говорить с такими, как Айтике, на «ты» для него было обычным. И вообще у него не было никаких оснований держаться со стариком вежливо. Он знал, что Айтике — враг его отца, помнил слова Атабека: «Красного шайтана не убьешь — душе покою не найдешь». И сын Атабека заговорил с Айтике, как сам Атабек, свысока и насмешливо:

— Твой сын — вор. Мы его поймаем. Я сейчас пойду скажу Сатару-агаю, — и он перепрыгнул через дувал.

Скуластый паренек, взглянув на Айтике, прихрамывая, последовал за товарищем.

— Эй, мальчик! — остановил хромого Айтике. У него дрожали руки и борода, в глазах потемнело.— Скажи, милый, что он украл? Он же не ворует.

— Я не знаю, дядя, я этого не говорил,— смутился мальчуган и замедлил шаг.

Айтике не мог двинуть ни рукой, ни ногой, страх сковал его. Он долго и бессмысленно смотрел на ведерко, пока не пришел в себя. Глаза его были широко раскрыты. Ему почудился визгливый детский голос и все усиливающиеся крики: «Бей! Бей!» Он не хотел даже смотреть в ту сторону. В голове мелькало: «Сатар не даст бить. Он ведь коммунист. Нет, нет! Советская власть справедлива. Воров, баев, басмачей не жалеет, но ребенка... Если детей не воспитывать, зачем их принимать? Ой, сынок, всего два года, как людьми стали. Одет, сыт... Наверно, кто-то его подговорил, сам он никогда не украдет, никогда. Я расспрошу... Я Сатару скажу, Сатару...»

У Айтике подкашивались ноги. Сделав над собой усилие, он направился к интернату и увидел, как из здания канцелярии вместе с Сатаром вышло несколько человек. Сын Атабека вел их к тому общежитию, где жил Джапар. Подойдя к окну, он рукой дал знак остановиться, а сам прильнул к стеклу. Сатар заглянул во второе окно. Мальчик по-кошачьи, на цыпочках подошел к Сатару и, давясь смехом, прошептал: «Он постель собирает». Не отрывая глаз от окна, Сатар остановил шептавшего: «Тише!» Сын Атабека, зажав рот рукой, отошел к остальным.

— Что он там делает? — спросила молодая воспитательница. Ее лицо было совершенно бледно, глаза недоумевающе раскрыты.

— Ворует! У него и отец был вор.

Сатар потихоньку постучал в окно. Из комнаты никто не отозвался. Сатар помахал рукой. Воспитательница подбежала и взволнованно спросила:

— Что же там? Что?

— Сейчас увидите, Наташа-ханум. Удивительное дело!

Наташа приложила руки к пылающим щекам, заговорила быстро, мешая татарские слова с русскими:

— Избаловался Джапар. Только не верю я этому, не верю.

Сатар улыбнулся, взял женщину за руку и, подражая ей, с акцентом сказал:

— Так вот. Удивительное дело, видишь ведь.— И продолжал по-киргизски: — Без шума идите. Посмотрите — он сейчас совсем в другом, в своем мире.

Никто ничего не понял. Воспитательница, шурша шелковым платком, на носках бросилась к окну, за ней — остальные. Их тени легли на кровати в комнате. То, что происходило за окном, удивило смотревших. Постели лежали на полу, белые струганые доски на кроватях пестрели красками. Джапар смотрел на краски, прищурив глаза, словно только что проснулся. По доскам бегали тени, повторяя движения людей за окном, но Джапару казалось, будто это ветер раскачивает тополя. Он не догадывался, что за ним наблюдают. Лишь поднявшись, чтобы расправить онемевшую шею, мальчик различил за стеклом лица людей.

Наташа, не вытерпев, вбежала в комнату, обняла Джапара, бросилась целовать его.

— Джапарчик, золотой мой, милый! Что ты делаешь? — воскликнула она по-русски, забыв, что тот, к кому были обращены слова, не понимает ее.— Так должно было быть. Говорила ведь я, говорила!

За ней вошли остальные. Растерянный Джапар молчал.

Айтике стыдился войти. Он ждал, что сейчас кто-нибудь подтолкнет Джапара со словами: «Воришка — сын вот этого старика». Айтике обошел вокруг дома, робея, заглянул в окно. Сатар узнал его, распахнул раму и позвал:

— Идите сюда, аксакал. Идите скорее.

Смутившись, Айтике отшатнулся от окна. Ему казалось, что кто-то шепчет в одно ухо: «Он смеется над тобой», а в другое: «Нет, он простил мальчика».

Старик вошел, не отдавая себе отчета. Сатар протянул ему руку, но Айтике не заметил ее. Он смотрел на сына. Красный и потный тот стоял среди людей, по-кошачьи прищуренными глазами смотрел на сложенные одна к другой доски и пытался что-то сказать. Мальчик ничего не понимал в этот момент, не замечал даже отца.

Айтике поставил ведерко и сел, прислонившись к стене.

— У вашего сына выдающиеся способности,— шепнул ему на ухо Сатар.

Айтике побледнел, шевельнул редкими усами. Крупные, как бусы, капли пота текли с лица на худую, морщинистую шею. Наташа, вынув носовой платок, вытерла мальчику потное лицо, ущипнула его за маленький носик и сказала:

— Киргизский Репин будет.

Айтике все это казалось сном. Глядя в рот женщине, он спросил:

— Дочка, что ты говоришь?

Голос отца привел Джапара в себя. Мальчик улыбнулся. Сатар взял его за руку и велел поздороваться с отцом.

Прижимая сына к груди, Айтике недоуменно спросил:

— Что тут у вас? Я ничего не понимаю.

Сатар, показав на доски, пояснил:

— Вы ничего не заметили? Было бы это на бумаге, я бы отправил во Фрунзе на выставку. Посмотрите, как рисует! Бумаги, карандашей, сколько ни попросит, — давать. Это настоящий талант!

ВЕЧНАЯ ДРУЖБА

В середине июня Фрунзе одевается в зеленую пышную листву. На юг от города ледяными вершинами вздымается Киргизский хребет. В предгорьях легкий ветерок колышет море хлебов.

В Чуйской долине стоит жара. Если углубиться в горы километров на восемь, температура становится умеренной. А еще выше прохладно, как осенью, хотя нигде не видно ни одного желтого листа. Туристы, мечтающие о ледниках и горных кручах, поселившись в столице Киргизии, за один день могут изведать все четыре времени года.

Художник Образцов с любовью переносил на полотно киргизские пейзажи, проводя за мольбертом вечерние и утренние часы, когда вечный снег вершин розовел в лучах зари.

Сегодня Образцов вышел на этюды со стройным русым юношей, тоже художником. Отступив шагов на пять от мольберта, тот искоса, по-птичьи склонив голову на бок, присматривался к наброску. Образцов сдвинул на левый висок старую черную шляпу, поправил измятый галстук, собрал краски.

— Семен Афанасьевич, — обратился он к молодому художнику,— я в последнее время начал быстро уставать. У киргизов пословица есть: «Старый приходит к еде, молодой—к работе». Трудитесь, а мне пора отдохнуть.

— Ладно, отдыхайте,— откликнулся Семен Афанасьевич.— Вы хотели о мальчике рассказать.

— Он как раз для вас: художник. Посмотрели бы на его рисунки! — Образцов вымыл кисти, положил их в футляр и продолжал:

— Я уже три года преподаю в техникуме рисование. Способных ребят очень много. Однажды задал ученикам сделать голову Венеры. На следующем уроке стал просматривать работы. У одного мальчика совершенно неожиданно для меня получился прекрасный рисунок. Венеру он изобразил весьма удачно, да еще лавровый венок ей пририсовал. А после того нарисовал двух фазанов. Все это абсолютно не походило на его прежние работы. Звали его Кудун. Я был убежден, что у него ни способностей, ни влечения к рисованию нет. Но когда я увидел эти рисунки, мне стало стыдно за свою ошибку.

Улыбнувшись, Образцов подсел к Семену Афанасьевичу и продолжал:

— На уроках только и разговору было, что о рисунках Кудуна. А один ученик возьми да и спроси: «Сколько ты дней, Кудун, рисовал?» Кудун, покраснев, ответил: «Вчера рисовали». «Вот видите, — подхватил кто-то, — он не сам... Рисовали, говорит».

Я подумал, что Кудун просто ошибся в русском языке и сказал «рисовали» вместо «рисовал». «С кем рисовали?»—спросил тот же ученик. Кудун сердито посмотрел на него и оборвал: «Тебя проверять, что ли, поставили? Какой ловкий! Возьми да и нарисуй с кем-нибудь вместе». Класс расхохотался...

— Значит, рисунки были его? — перебил Образцова Семен Афанасьевич.

— Погодите, еще не все,— продолжал Образцов.— Кудун стал известностью среди учеников. Целую неделю я радовался его успехам. И... опять ошибся. Надо вам сказать, что когда у нас шел урок рисования, дверь из аудитории в коридор почему-то всегда чуть-чуть приоткрывалась. Раньше я не обращал на это внимания, но однажды взял да и закрыл. Она снова приоткрылась. Я закрыл во вто-

рой раз. Вижу,— опять открылась. Подумав, что кто-то шалит, я рассердился и резко распахнул дверь. Оказалось, подсматривал русый мальчонка из подготовительного класса, где рисование не преподавалось. «Что тебе надо? Уходи!»—прикрикнул я на шалуна. Он посмотрел на меня просящим взглядом, но ничего не сказал и ушел. На следующем уроке дверь опять приоткрылась. Мне стало любопытно, что заставляет мальчика подглядывать. Я молча закрыл дверь, но через несколько минут она опять была открыта. Увидев в отверстие половину детского лба, я убедился, что это тот самый мальчик. Когда я распахнул дверь, он дрожащим, пискливым голосом произнес: «Здравствуйте!» — посмотрел на меня с надеждой, но, смутившись, не знал, что сказать дальше.

«Ты любишь картины?»— спросил я и погладил его по голове.

«Да».

«Рисовать умеешь?»

«Умею».

«Как твоя фамилия?»

«Айтикеев».

«А имя?»

«Джапар».

«Есть у тебя свои рисунки?»

«Есть».

Ребята в классе услышали разговор. Один подошел к нам. За ним появился Кудун, остальные столпились позади.

«Где же рисунки? Принеси!»— попросил я. Мальчик, почесывая висок, поискал кого-то глазами среди ребят и остановился на Кудуне.

«И у Кудуна есть. Посмотрите эти. А ну, Кудун, покажи мои рисунки».

Ребята расхохотались:

«Покажи, Кудун».

«А я что говорил!»

«Принеси!»

Кудун стоял молча. Тогда один мальчик сбегал к его парте, вытащил рисунки: «Которые из этих?»

Джапар, не торопясь, степенно, как взрослый, пояснил: «Вот эти фазаны. Вот эта женская голова. Тот тоже мой», — он показал на человека с собакой.

Заканчивая свой рассказ, Образцов довольно улыбнулся:

— Этот мальчик большим художником будет. У него все впереди. Уже сейчас он рисует, как профессионал. Я вас с ним познакомлю.

Семен Афанасьевич стал собирать краски, заторопился.

— Сегодня же покажите его. Мне уже не терпится на него посмотреть.

Художники пошли домой. За спинами у них висели мольберты и рюкзаки, придававшие им сходство с возвращающимися с гор охотниками. На улице Дзержинского учащиеся техникума сажали деревца.

— Где Джапар Айтикеев? — спросил у них Образцов.

— Во-о-он там. Рисует. Позвать его?

— Не надо,— остановил Образцов. — Пойдемте, Семен Афанасьевич.

Они подошли к Джапару сзади, разговаривая так тихо, что тот не заметил их. Мальчик писал, часто меняя кисти, отходя от мольберта и пристально вглядываясь в полотно. Семен Афанасьевич, чтобы обратить на себя внимание Джапара, заговорил громче, кашлянул, наконец, оглушительно чихнул. Но Джапар не слышал ни кашля, ни разговора, ни чиханья. Работавших рядом с Джапаром ребят рассмешил искусственный кашель Семена Афанасьевича. Джапар, писавший их, не слышал, что они хохочут, но почувствовал перемену в движениях.

— Эй, Узак, эй!—крикнул он позировавшему ему мальчику.—Ты почему позу изменил? Опусти шею. А ты,— протянул он руку к другому,— подними саженец. Рассмейся! Пусть у тебя лицо радостное будет. Так, так. Уже немного осталось. Вот так!

Художникам не хотелось прерывать работу Джапара. Они показали ребятам знаками, чтобы те не говорили о них, а сами уселись над арыком.

Джапар то отходил от мольберта, то снова подходил и, наконец, сказал:

— Ладно, Узак. Хватит!

— Теперь хватит!—повторил Семен Афанасьевич, подходя к Джапару.

Тот растерялся, опрокинул мольберт и с удивлением посмотрел на незнакомого. Но, увидев рядом с ним Образцова, улыбнулся:

— Здравствуйте!

Образцов познакомил своего ученика с Семеном Афанасьевичем. Тот обнял его и, хлопая по плечу, сказал:

— Теперь нас трое. Ты—первый художник из киргизов. И пусть наше нынешнее знакомство будет началом вечной дружбы. Пойдем, поговорим.

«НАДО ТОРОПИТЬСЯ»

Москва показалась Джапару совершенно новым миром. Семен Афанасьевич не спрашивал его, что он хочет посмотреть.

— Идем, покажу галереи, — говорил художник и вместе со своей женой водил Джапара по музеям. У Джапара пестрело в глазах, он чувствовал усталость. Перед обедом они вошли в Третьяковскую галерею. Семен Афанасьевич нанизывал, как бусы, историю картин и биографии художников на нить рассказа.

— Посмотри вот на это полотно,—говорил он, подводя Джапара к картине «Явление Христа народу».— Художник писал ее тридцать лет. Настоящее искусство бессмертно. Оно требует неутомимости, труда, упорства, знаний. Вещь, написанная без мастерства,— не искусство, она— мазня. Чтобы написать настоящую картину, нужно настойчиво изучать жизнь. Ты об этом не забывай. В жизни ничего легкого нет.

Джапар, как ни устал, до утра не мог заснуть.

Виденные им полотна вставали перед глазами, словно кадры киноленты. Одна мысль вела за собой другую, и по временам юного художника охватывал страх. Течения в искусстве, о которых говорил Семен Афанасьевич, представлялись ему смутно. Он уже подумал: «Не лучше ли вернуться назад? Или учиться другой специальности?» Но вспомнились слова Семена Афанасьевича: «В жизни ничего легкого нет». И Джапар мысленно согласился: «Это правда. Легкого ничего нет. Все надо покорить трудом. Завтра решу, что делать».

Он задремал только под утро.

Было около полудня, когда Семен Афанасьевич и Джапар пришли в училище. В большом зале Джапара поразил резкий запах красок. Студийцы, писавшие на белых, как простыни, листах бумаги и на загрунтованных холстах,

увидев вошедших, стали перешептываться. Профессор, седоватый старик в очках, сказал им:

— Работайте,— подошел к натурщице и заметил:— Вы изменили позу. Левую руку держите ближе к голове: не надо бицепса.

Джапар уже встречал этого профессора, но сейчас не узнал его.

— Художник должен быть наблюдательным,—сказал, улыбаясь, профессор.—Ну, ничего. В свое время и вы будете повторять эти слова. Приступим к работе.

Он распластал на мольберте чистый лист плотной бумаги. Джапару стыдно было рисовать обнаженное тело женщины. Он не мог взглянуть на натурщицу и, смутившись, пролепетал:

— Простите, профессор.

Профессор смотрел на часы и не слышал его.

— Сегодня уже поздно,—сказал он.—Ну, ничего. Рисуйте пока эту натурщицу. Специальные уроки с вами начнем завтра. Я думаю, так будет правильно. Пойдемте, Семен Афанасьевич,—обратился он к художнику.

Семен Афанасьевич заметил смущение Джапара.

— Не стесняйся, Джапар, рисуй, — подбодрил он.— Желаю удачи! Я ухожу.

Джапар почувствовал себя посаженным в клетку. Он никогда еще не рисовал обнаженной женщины и отводил глаза от натурщицы. Карандаш казался таким тяжелым, что его трудно было поднять. И сколько Джапар не заставлял себя взглянуть на женщину, внутренний голос останавливал его: «Брось, не рисуй. Позор!». Он почувствовал, что студенты, работавшие вокруг, переглядываются, улыбаются. Силы словно покинули его, он вспотел.

Джапар раскаивался в своем приезде. Время, когда он учил ребят в аильной школе, показалось ему неповторимо прекрасным. «Из меня ничего не выйдет»,— подумал он со страхом и, словно пораженный параличем, не мог сделать ни одного движения. Молчаливые перемигивания окружающих Джапар принял за насмешку над собой.

Длиннокосая блондинка, рисовавшая натурщицу сбоку, отступила от мольберта, чуть прищурив круглые карие глаза, вглядывалась поочередно в натуру и рисунок, сличая их.

— Как вы думаете, тень от шеи гуще этой?— спросила она Джапара, предлагая посмотреть ее работу.— Будем знакомы. Вы казах?

— Нет. Я киргиз,—ответил Джапар, обходя ее вопрос о густоте тени.— А вы из Казахстана?

— Да. Значит, мы земляки. Я из Кастека. А вы откуда?

Джапару хотелось назвать место поближе к ее родине, и он ответил с такой улыбкой, что его нельзя было заподозрить в обмане:

— Я? Я токмакчанин. Но уехал оттуда в детстве,— добавил он на всякий случай.— Тех мест теперь уже не помню.

Работавшие в студии юноши и девушки рассматривали Джапара с любопытством, приглядывались к его лицу. Среди них был Сергей, ленивый и самовлюбленный молодой человек.

— Я красивее Байрона. Он был поэт, а я художник,— часто самодовольно говорил Сергей.

Действительно, он был красив, но что-то в его лице было не симпатично, а хвастовство и злопамятность заставляли забывать о его красоте. Увидев Джапара, Сергей больше всех присматривался к нему.

— Эй, дорогой,—спросил он, подойдя к нему,— есть ли среди вас красивые люди? Или все скуластые?

Он стоял, подбоченившись и выставив вперед ногу. Джапара рассердило это, но он ответил сдержанно:

— В каждом народе могут быть красивые люди. Но красота бывает не только внешняя. Я в человеке люблю красоту внутреннюю.

— Правильно! Правильно!— раздались голоса. Студенты оставляли свои мольберты, подходили к группе, собравшейся вокруг Джапара.

— Совершенно верно!— вмешалась блондинка.— Я не согласна с природой. Было бы прекрасно, если бы внешней, приятной оболочке всегда соответствовали величие сердца и красота характера.

— Это ты обо мне сказала, Вера, я знаю. Понимаю тебя,— обиделся красавец Сергей. Вытянув шею и озираясь по сторонам, он опять похвастался:—А все же неплохо быть таким, как я.

— Избави боже! — расхохоталась Вера. — Что ты? Кусок мрамора, бездушного и холодного. А нам нужна

теплота. Впечатляющая одухотворенность выше ледяной красоты. Понятно тебе?

Красивый юноша не ответил ей, потому что похвалил себя, сам поверил этой похвале, и больше ему нечего было сказать. Студенты заговорили о том, как помочь Джапару.

— Я в Москве впервые. Такого города и во сне не видел,— объяснил Джапар, улыбаясь.— Может быть, покажете, как надо начинать?— попросил он, поднимая руку с карандашом.

— Станьте вот здесь,— сказала Вера.—На первых порах, конечно, вам трудно будет. Завтра профессор будет читать специальную лекцию. Вот так держите карандаш, смотрите на натурщицу, начинайте вот отсюда и рисуйте. Да не стесняйтесь! Вот они тоже сегодня впервые здесь,— показала она карандашом на двух девушек.—Ну-ка!

Джапар смежил глаза, что-то припомнил. Эта девушка напоминала ему воспитательницу Наташу из интерната. Джапар, словно в полудремоте, чуть склонившись, взглянул на натурщицу и начал работать карандашом. Он долго молчал. Изредка, останавливаясь на мгновение, он присматривался к натурщице и снова длинными штрихами набрасывал контур. Студийцы, опершись друг на друга, разминали уставшие руки, перешептывались.

Когда раздался звонок, профессор вернулся в зал. Вера остановила его, что-то сказала. Старик подошел к Джапару, протер очки, сравнил рисунок с натурой. Натурщица по звонку перестала позировать, но Джапар рисовавший в это время ее ноги, замахал рукой и крикнул:

— Подождите, подождите! Сейчас, сейчас!

Женщина не обратила на него внимания, встала и принялась разминать онемевшее тело.

Профессор обнял Джапара за плечи:

— Спасибо, Айтикеев, спасибо. Достаточно, дело никогда не убежит. Пока не станете художником, я вас никуда не отпущу. Ваш народ и от меня и от вас требует многого. Наше дело—давать и давать, ваше дело—брать и брать.

Он погладил бороду и закончил:

— Жизнь коротка. Тому, кто умеет работать, времени хватит, но все же надо торопиться.

Худой, бледный, без одной ноги юноша, опираясь на костыли, ходил по палате.

— У одноногого шаг размашистее,— подшучивая над собой, сказал он.

— Чему смеешься?!— раздраженно крикнул один из раненых.— Кошка на четырех ногах лучше льва на двух. Кому теперь мы нужны? Девушкам, с которыми ты раньше гулял, нужен ты теперь? Что же ты — по-прежнему выйдешь с ними петь на улицу, с балалайкой в руках? Нет! Ты попробуй бросить эти костыли! Свалишься и не встанешь. Понял ты это? Понял? Верно я говорю?!

Светлорусый раненый, державший руку на перевязи, с грустью посмотрел на него, и вдруг глаза его заискрились весельем:

— А девушки не за ноги любят. Они за сердце, за душу, за храбрость любят. Вот как!

— Верно! — продолжал другой, с костылем.— Мы инвалиды не потому, что уроды, инвалиды не по наследству, не от рождения. Мы без рук и без ног потому, что жизни своей не жалели за родину. Понятно? За родину, за родину!

— Родина! Родина! Как будто ты любишь ее больше, чем я! Глупец! Но пусть бы лучше на братской могиле одно имя от меня осталось. Я был бы рад,—ударяя костылем по полу, снова начал жаловаться на судьбу одноногий.

Раненые молчали. Белокурый, широкогрудый солдат, лишенный ног и одного глаза, позвал юношу:

— Николай, подойди ко мне.

И когда тот приблизился к койке, он выхватил у соседа костыль и замахнулся с криком: «На тебе!»

Николай, стуча костылем, отпрыгнул, будто наступил на раскаленный уголь. Кругом засмеялись:

— Ага! Не хочешь умирать!

— Подставь, подставь голову!

— Не убегай! Тебе же умереть хотелось!

— В могиле будешь! Голову подставь!

— Опять смеетесь! А чему? Чему смеетесь?—рассердившись, закричал Николай и сел на койку.

Безногий, отбросив костыль, спокойно заговорил:

— Не понимаешь, товарищ. Говоришь: умереть хочу. Не надо умирать. Никто тебя калекой не назовет, не унизит. Напротив... Посмотри на меня. По-твоему я дурак? Ничего подобного! Конечно, очень тяжело. Я молодость, здоровье — все потерял. За что? За родной народ, за отцов, за матерей, за тех девчат, о которых ты говоришь, за великую Родину! И никто не имеет права относиться ко мне с пренебрежением. Такие, как я, вправе сказать советским людям: «Мы за вас пожертвовали всем». И они скажут нам: «Спасибо, вы защитили нас. Вы — защитники Родины».— Он осмотрелся:—Не так ли, товарищи? Так. Нам очень тяжело, но мы отстояли Родину. И тяжело, и легко... Вы же помните, воевали мы так: умрем или победим! И поставили Германию на колени. Значит, цель достигнута. И мы должны жить. Как думаете?

— Верно! Совершенно правильно! Верней быть не может!— раздались кругом голоса.

— Он теперь поймет.

— Больше всего он боится смерти.

Раненые подняли нытика на смех. Громыхая костылями, Николай подошел к безногому и сел на его койку.

— Ладно, ты прав. Девчата, будь они хоть зайцами, от тебя не ускачут. А все же, говоря откровенно, нам чего-то недостает. Но жалеть поздно. Что свершилось, то свершилось. Идемте в зал, там новые плакаты развешивают,— пригласил Николай, ища выхода из невыгодного для себя спора.

Выздоравливающие заковыляли к дверям, опираясь на руки товарищей вместо костылей. Лежачие звали сестер.

Худая, седоволосая старуха, развешивая плакаты, пригласила раненых:

— Идите ближе, товарищи. Герои этих картин — вы.

— Ты, бабушка, ошиблась,—засмеялся Николай.— Тебе бы нас сынками назвать, а ты — товарищи! Да ладно, война все перекосила. Но я тебя буду бабушкой звать. Сыновья в армии есть?

Седовласая женщина улыбнулась:

— Есть. У каждой женщины в армии дети. Все вы мне сыновья.

Она отошла от плаката и стала в ожидании вопросов. Солдаты поддержали ее:

— Верно, мамаша, верно.

Бойцы внимательно рассматривали плакаты. Николай, считая, что он ничего не понимает в живописи, обернулся и позвал:

— Эй, киргиз, иди сюда. Говоришь, ты — художник. Вот это как нарисовано?

Безногий, что спорил с ним в палате, сердито одернул его:

— Эй, парень! Где ты вырос? Что ты за человек? Пятнадцать дней в одной палате лежите, а ты человека по имени не назовешь. Учить тебя надо? Товарищ Джапар Айтикеев, вот как надо. Эх, ты!

Седая женщина вздрогнула, огляделась по сторонам и бросилась к светлоусому лейтенанту с рукой на перевязи, воскликнув:

— Здравствуйте, Джапар Айтикеевич!

Не узнавая женщины, он протянул ей здоровую руку, ответил:

— Здравствуйте.

— Вы меня не узнаете?—улыбнулась женщина.

Голос ее, звонкий, как бубенчик беркута, показался ему знакомым, но лицо... Нет, лица он не мог вспомнить!

— Простите,—смутился Джапар.—У меня память не в порядке. Голос ваш мне очень знаком, но узнать не могу. Простите, пожалуйста, мамаша.

Покрытое морщинами, худое, бледное лицо женщины осветилось улыбкой.

— Меня не только вы — собственная мать не узнала бы. Я вам не мамаша, а ровесница.

Раненые с изумлением прислушивались.

— Вы, должно быть, помните Веру. Вместе с вами художественное училище имени 1905 года окончила,— сказала она, взяв Джапара за руку.

Джапар забыл о боли в раненой руке.

— Вера! Вера Васильевна! — вырвалось у него. — Неужели это вы?! Простите—он обнял Веру. — Я никогда не забуду, как вы тогда помогли мне начать, взяли мой карандаш и сказали: «Начните отсюда». Я этого не забуду никогда. Вы тогда были белокурой девушкой. Что с вами произошло? Что случилось? Я не верю...

Глаза Веры налились слезами, ввалившиеся щеки задрожали.

— Верьте,— еле выговорила она.

Бойцы замерли, будто пораженные громом.

— Я расскажу вам все,— обратилась Вера к окружающим.— Если хотите, начну с нашей прежней жизни: моей и Джапара Айтикеевича.

— Рассказывайте.

— Садитесь, товарищи бойцы!

— Вот тебе раз! Бабушкой назвал, а она в сестры годится. Ничего я не понял,— спохватился Николай.— Простите, пожалуйста,—он сел, положив костыли на колени.

Бойцы притихли. Если бы пролетела муха, ее услышали бы.

— ...Нам приказали копать себе могилу,— рассказывала Вера Васильевна.— Сначала отобрали евреев и коммунистов. Их было около ста, а может быть, больше. Нас держали в безлюдной местности, в лагере, обнесенном колючей проволокой, как повиликой. Пришел высокий, худой, как привидение, капитан. Наверно, белогвардеец, а может быть, немец. По-русски говорил совсем чисто. Он сказал:

— Кто хочет жить, подыми руку!

Около сорока человек подняли. Их поставили отдельно.

— Вы должны убить их,—сказал капитан, показывая на коммунистов и евреев.— Согласны?

Он ходил взад и вперед. Никто не отвечал.

— Повторяю: кто хочет жить? Ну! Поднимай руки!

Теперь из сорока руки подняли только четверо. Капитан спросил:

— Вам понятно мое условие?

Двое, поднявшие руки во второй раз, пошептались, один из них задал вопрос:

— Господин капитан, чем убивать?

Капитан похлопал себя по бедру каучуковой дубинкой:

— Чем копаете землю. Понятно? Идите!

Они не пошли.

— Не хотите?—осклабился капитан и подошел к ним.

— Не хотим.

Мой отец сказал:

— Никто не хочет. Кто ел советский хлеб, тот не захочет. Все честные люди не захотят.

Потом обернулся и крикнул в толпу:

— Наши люди! Умрем с честью. У меня нет партбилета, но я большевик и умру честно. Призываю вас к честной смерти!

Капитан подбежал к отцу, схватил его за бороду и начал трясти. Отец пошатнулся, потом выпрямился и ударил капитана. Тот упал, несколько раз перевернулся, а когда поднялся, все лицо у него было в крови. Отец снова ударил. Видно было, что он не горячился, действовал спокойно, обдуманно.

— Украинцы такие,—перебил Веру один из слушавших.

— Капитан, не поднимаясь, стал шарить в кармане, искать револьвер. Солдаты схватили отца за руки. Когда капитан встал, они отступили. Капитан выстрелил. Отец, не разжимая кулака, пошатнулся и упал. Стоявшие рядом мать и двое моих сестер бросились к нему. Капитан выстрелил им в затылки. У него были рыжие, грязные, как старая кошма, лохматые волосы, рот — в крови. Мне он показался псом, пожирающим трупы. Я закричала от ужаса. Муж закрыл мне рот. Капитан наставил револьвер на людей:

— Кто кричал?!

Все молчали. К капитану подбежали трое немецких офицеров и увели его из лагеря.

Евреев и коммунистов сразу же расстреляли из пулемета. Оставшихся в живых в тот же день погнали в другой лагерь. Голодные старики не могли идти. Кто чуть выходил из колонны, того рубили шашками. Лагерь, куда мы шли, называли «лагерем смерти». Дошло нас всего сорок восемь человек...

В палату вошла сестра и позвала раненых на обед.

— Тогда-то и поседела голова? — спросил Веру безногий.

— Да,— устало отозвалась она.— Вот так я жила. Зубы выпали. Волосы побелели от ужаса,— закончила она и взяла Джапара под руку.

— Если не ошибаюсь, вам только двадцать семь лет,— сказал Джапар, гладя седые волосы Веры.— Война — горе, война — великое испытание...

— Кто знает, что у него на душе? Он не откровенничает. То, чем-то недовольный, заговорит сердито. То, как рыба, молчит. Даже странно. Спросишь: «Что с тобой?»— ответит резко: «А вам это зачем знать?»

Узак посмотрел на товарища и продолжал:

— Вместе учились, вместе росли, я знаю его, но такого с ним никогда еще не было. По-моему, он безответно кого-то полюбил. Или чем-то неудовлетворен, или у него тяжелое горе. Иногда думаешь даже, не помешался ли он.

— Чем ему быть недовольным? — отозвался собеседник, писатель Абдыбек.— Ты преувеличил, нафантазировал.

Узак, словно обидевшись, долго молчал, скрестив руки, потом провел рукой по волосам и сказал:

— Не знал бы я, так не говорил бы. Не веришь — сходим к нему. Сам убедишься. У него на сердце неизвестное нам горе. Тяжелое горе.

— Ладно, сходим.

И они замолчали. Узак закурил. Держа папиросу, он вытянул все пальцы своей маленькой белой руки, закрыв ладонью рот и нос. Это всегда было у него признаком нервного состояния. Абдыбек почувствовал, что товарищ недоволен.

— Очень жаль, что ты плохо понимаешь человека, хоть и поэт, — заговорил Узак по-русски.

— А ты преувеличиваешь в пять—шесть раз. И тебе верить? Оставим эту взаимную критику, лучше сходим к нему.— Абдыбек уже горячился. — Ты неуместную философию разводишь и, кроме того... — он оборвал фразу.— Вон он сам идет.

— Хорошо. Присмотрись,— ответил Узак.

Джапар шел, глядя в землю, словно считал шаги. Воротник его рубашки был расстегнут. Джапар, видимо, был глубоко погружен в свои мысли. Казалось, он несет на своих плечах такой тяжелый груз, что его нельзя взвесить.

Навстречу шла женщина с мальчиком, за ними овчарка. Женщина говорила звонким голосом приятного тембра. Проходя мимо Джапара, она громко, радостно рассмеялась. Вперегонки пробежала четверка босоногих

мальчишек. Джапар ничего не замечал, не слышал. Он казался одиноким путником в безлюдной степи.

— Так я, по-твоему, ошибался? — Узак кивнул на проходившего мимо Джапара. — Что теперь скажешь?

Абдыбек промолчал. Он посмотрел вслед Джапару, протянул руку, будто хотел остановить его и, наконец, вымолвил:

— Он и в самом деле нездоров.

Ветвистые дубы на улице Дзержинского, молоденькие карагачи возле вокзала нежились в знойном безмолвии, стояли, не шелохнувшись, словно уговорились: «Помните, кто сажал нас? Не будем мешать Джапару. Пусть думает». Сквозь кудрявую листву солнечные лучи падали на лицо Джапара но он не чувствовал этого.

— Не обращая ни на что внимания, он мыслит,— рассмеялся Узак. — Сейчас в его мозгу поэзия, фантазия, пейзажи, восторг любви. Он восходит на Парнас. Теперь веришь мне?

Абдыбек встал и, подавшись вперед, растерянный, кивнул в сторону Джапара:

— Вот тебе и на! Он же нездоров. И глаза как у ненормального. Куда он идет? Спасибо хоть по аллее. Если сойдет на мостовую, попадет под первую машину. Надо остановить. — Абдыбек сорвался с места, крикнул:

— Джапар! Эй, Джапар!

Прохожие оглядывались. Не обращая на них никакого внимания, Абдыбек продолжал кричать. Некоторые, глядя на Джапара, удивлялись: «Почему он не останавливается?»

Шедшие мимо две девушки перешепнулись с улыбкой, будто осудили: «Прилично ли поднимать крик на всю аллею?» Абдыбек не слышал, но понял и, покраснев, опустил глаза. Узак засмеялся:

— Немного неловко получилось.

Встав, он предложил:

— Пойдем за ним.

Они задержались, чтобы закурить. К ним подошел возвращающийся с работы парторг Болотбеков. По привычке он начал с шутки:

— Ну, инженеры человеческих душ, чьи сердца разбираете? Я, как вас встречу, будто пчел увижу. Нет, по-

дождите! Я не говорю, что ужалите. Вы, как пчелы, что от цветка к цветку летят, мед собирают. Сладкие слова, изящные фразы ищете, такие, чтобы сердце грели и душу ласкали. Мысли у вас острее клинка, силу дают. В самом деле, увижу вас — вспоминаю пчелу, которая нектар из цветка пьет. Или я неправ?

— Перехватили. Мы как раз говорили о такой рабочей пчеле — о Джапаре Айтикееве. Высказывали свои подозрения. Что вы на это скажете? Он чем-то расстроен. Мы хотели за ним идти.

— Значит, плохие вы инженеры,— улыбнулся Болотбеков, похлопывая Узака по плечу. — Не похвалюсь, что много знаю, но о жизни замечательных людей много читал. И о художниках тоже. По-моему, им собственный талант больше всего причиняет беспокойства. Они жизнью и красотой никак не насытятся. Печаль настоящего мастера оттого, что он собой недоволен. Джапар в наших условиях человек не маленький. У него орден Ленина да еще три других. Они ко многому обязывают. Я думаю, у него не недовольство, а беспокойство творчества. Вы не следите за ним, а зайдите вечером домой, поговорите по душам. А завтра в десять утра я вас жду к себе. Если огорчен какими-нибудь неурядицами — дело поправимое. Полюбил,— его личное дело,— усмехнулся Болотбеков.— У вас это частенько случается.— Помолчав, он достал портсигар.

— Таланту вдохновиться надо, от красоты родных гор и долин в восторг-прийти, мощную радость созидания пережить. Художнику надо и ужаснуться и полюбить. Да, да, полюбить. Не смейтесь! Я говорю о любви в широком смысле. Кто не знал упоения творчеством, не тосковал по красоте, не вкушал сладость дружбы, не пылал ненавистью — тот не познал и половины радостей жизни. Так я думаю. А вам это все особенно нужно. Стремительнее мысли и тяжелее мысли, пожалуй, ничего нет. Мыслить надо. Надо уметь мыслить!

Папироса потухла, он прикурил ее и продолжал:

— Я завидую людям искусства и литературы. Живописцы и ваятели могут изображать. Прозаики и поэты могут писать. Композиторы слагают песни. Пусть ваш труд и ваша жизнь народу образцом будут. Пусть люди учатся у вас, а молодежь подражает вам. Народ для вас—

интересный роман, который не дочитать до конца. Вам от него брать не выбрать, потомкам достанется. Народ — неиссякаемый источник творчества. А вы из него в силах зачерпнуть лишь в меру своего дарования.

— Да, вы говорите верно,— согласился Узак. Взглянув на парторга, он спросил с улыбкой:

— Товарищ Болотбеков, а если Джапар влюблен, тогда что?

— Я в это не верю. Но знаю: если полюбит—полюбит чисто.

— Например, кого же?

— Например? Например, искусство. Верю, что этой своей любви он отдаст всю жизнь.

— Может быть, вы правы,— сказал Абдыбек. — Может быть, это и есть его любовь. Он тонко чувствующий человек. Если его не удовлетворит любимое, он должен в испуге уйти.

— Это верно,— поддержал Болотбеков.— Но нельзя дать ему испугаться и уйти. Иногда вдохновение почему-то оставляет художника. Я сравнил бы вдохновение с гордой красавицей. Чтобы покорить такую женщину, надо настойчиво добиваться ее внимания. А главное, надо быть уверенным в себе и дать ей почувствовать уверенность. Так и вдохновение — чтобы овладеть им, надо в себя поверить.

Собеседники рассмеялись и в это время заметили Джапара. Возвращаясь от вокзала, он шел по-прежнему задумчивый. Как ребенок, пустивший лодочку в воду, он следил за бегущей водой в арыке, срывал листья и, положив их на кулак, хлопал по ним ладонью. Прохожие могли принять его за полубезумного. Он прошел мимо друзей, не заметив их. Те молча следили за ним. Узак сказал:

— Он сейчас не в нашем, а в своем мире живет. А если нет — значит — помешался,— и, вздохнув, предложил: — Привести его сюда?

— Нет, оставь,— возразил парторг.— Сегодня обязательно навестите его, пусть рассеется. А завтра, чтобы и я обо всем знал.

Ветер пошевелил листву, и она зашептала, словно беспокоясь о Джапаре, спрашивала его: «Ай-ай-ай, что

с тобой?» Казалось, деревья смотрели в ту сторону, куда ушел он, и покачивали зелеными головками.

Болотбеков постучал мундштуком папиросы о портсигар, задумчиво промолвил:

— Джапар — человек мысли. У него в душе сейчас, наверно, смятение, буря. Какие-то вопросы мучают его. И он должен решить их, по-своему решить. Он ищет новое.

«ВРЕМЯ ЛЕТИТ»

Узак и Абдыбек возвращались от Джапара в час ночи. Бесчисленные звезды горели в бездонном небе и смотрели на землю, будто понимая беседу о Джапаре и подмигивая его друзьям.

— Дома он не ночует. Наверно, кто-то заронил в его сердце огонь. Любовь безумна, разум перед ней слаб. Да мы же сами это пережили, знаем,— заговорил Узак.

— Наверно, фантазер! Когда любовь не покоряется разуму, человек становится сумасбродным,— спорил Абдыбек.— Разум—шофёр человека. И если он не справляется с машиной, то разобьет ее об утес, свалит в пропасть. В сердце у Джапара какая-то тайна или тяжелое горе. Но отчего — не ясно.

— В этом-то и секрет. Он скрытничает. Заговори с ним — отрежет: «Что вы пристали? Разрешите и мне подумать, поработать». — Абдыбек остановился, взглянул на звезды.— Завтра утром в десять встретимся у Болотбекова. До свиданья! — он пожал Узаку руку и побрел домой, не переставая думать о Джапаре.

В мастерской Джапара горело электричество. «Наверно, сторож. Джапару ночью незачем здесь быть,— подумал Абдыбек.— Завтра у сторожа спросить надо».

Абдыбек ошибался: в мастерской был сам Джапар. Погасив свет, он распахнул все окна на север и, прислонившись плечом к раме, смотрел на безмятежно дремавшие деревья, на тихую улицу. Ему казалось, будто тополя, посеребренные лунным сиянием, тихо шептали: «Э, Джапар, Джапар, кем ты был и кем стал? Понимаешь ли ты свой долг? Талант — счастье...»

«А, может быть, я потерял это счастье? — спрашивал себя Джапар. — Оно, как во сне, показалось и вмиг исчезло. Страшно... Народ ждет от меня нового. Я ночи

напролет не сплю, погруженный в раздумье. А результаты? Нет их! Все то же...»

С тяжелым вздохом он отошел от окна, зажег электричество, долго рассматривал эскиз, набросанный углем на широком холсте. Вдруг захотелось порвать его. Нервничая, он вышел на воздух, остановился посреди улицы, посмотрел в темное небо, на залитые лунным светом недоступные снежные горы и, завороженный ночным безмолвием, замер.

Послышались крики журавлей: «Кыык-кыык!» Они летели с запада. Джапар запрокинул голову, птиц не было видно. Подумалось: «Силу их крыльям в долгом пути дает надежда». Вспыхнула мысль: «Вот так и талант — голос подает, а себя не показывает».

«Нет, я, наверное, устал,—решил Джапар.—Что только в голову ни придет. Как будто кто-то мучит меня. Я устал».

Потирая руками лоб, он возвратился в мастерскую. Пришли на память случаи из жизни великих живописцев. Захотелось почитать о ком-нибудь из них, но кроме «Истории искусств» в мастерской ничего не было.

Он включил свет, полистал страницы, будто ища отмеченное место. Внимание привлекла рафаэлева «Мадонна с купидонами». Он снял с гвоздя черную стеганую куртку, подложил ее под голову, попытался читать, но мысли были далеко. Отложив книгу, Джапар закрыл глаза. Беспокоило электричество. Казалось, кто-то заливал комнату красной краской неразличимого цвета. Джапар отвернулся от лампы, прикрыл глаза рукой, но мутная краска сочилась сквозь пальцы и веки. Встав, Джапар распахнул окно, выключил свет и лег с открытыми глазами. В комнату полилась ночная прохлада. Как на фотопластинке, опущенной в проявитель, перед глазами встали гордо поднимающиеся к небу, стройные пирамидальные тополя. Один среди них был с широкой, развесистой кроной. Джапару показалось, что он видит старого знакомого. Удивленно всматриваясь, Джапар вспомнил: лет двадцать семь — двадцать восемь назад покойный отец Айтике под таким вот тополем построил шалаш из травы.

Джапар не забыл этого. Напротив, он часто вызывал в памяти и тополь и шалаш. Оттуда зергер и Сатар взяли его в интернат. Тополь, что стоял за окном мастер-

ской, заставил Джапара вспомнить об отце. Перед глазами потекло прошлое, развертываясь лентой картин.

«Зергеру уже сто двадцать лет. К старику прикрепили врача, назначили пенсию. Наташа, та женщина, которая тебя воспитала, получила звание народной учительницы. Когда заходит речь о тебе, она обязательно посмотрит поверх очков и скажет: «Джапара вырастила я»,— писал Сатар в письме, которое Джапар получил вчера. Вспомнились строки дальше: «Джапар, победа мне досталась дорого. Единственный сын, услада глаз моих, Усен погиб на фронте. Посмертно ему присвоили звание Героя, об этом ты, наверное, сам знаешь. Старость пришла в гости... Ты, мой сын, не забывай интернат. Не забывай обо мне, пиши. Не лишай сыновней ласки».

Джапар припомнил, как ласковый к детям директор интерната когда-то впервые погладил его по голове. Вот, пришла к этому человеку старость. Джапару показалось, будто внутри что-то оборвалось, горло стало сухим. Он вздохнул, поднял голову, взмахнул руками, как птица крыльями в полете, и сел на стул у окна.

Словно волны, обгоняя друг друга, одна мысль нагоняла другую, та—третью, и вдруг все сразу падали на него. Перед глазами возникли картины великих живописцев: «Блудный сын» Рембрандта, «Бой французов с испанцами» Веласкеса, «Мадонна» Рафаэля, «Иван Грозный и его сын» Репина. И еще другие полотна, словно кадры бесконечной киноленты, появлялись перед ним и исчезали. «Демон» Врубеля сидел, обхватив колени, и широко открытыми глазами смотрел на Джапара. Джапар невольно улыбнулся: он сидел точь-в-точь как врубелевский Демон, словно играл на сцене роль. Не успев согнать с лица улыбки, он снова включил электричество. Покрасневшие от бессонницы глаза резало. Сняв майку, Джапар обтерся водой. Тело ощутило приятную свежесть, давившая на затылок тяжесть исчезла.

Неугомонные соловьи не то воспевали раскрывшиеся цветы, не то перекликались, стосковавшись друг по другу. Заслушавшись их, Джапар не заметил, как сам просвистал три—четыре мелодии. Поймав себя на том, что подражает птицам, Джапар улыбнулся и опять лег. Соловьиное пение раздавалось вблизи, доносилось издалека. Прислушиваясь, он не почувствовал, как заснул...

Когда Джапар проснулся, беззвучные, прилетевшие без крыльев, лучи солнца уже смотрели в мастерскую через восточное окно. Открыв глаза, Джапар увидел, что лежит на груди, усмехнулся тому, что незаметно заснул в такой неудобной позе.

— Как быстро проходит все, — произнес он вслух. — Нет крыльев, которые бы несли быстрее крыльев времени. Да... Время летит, без крыльев летит.

Он порывисто встал, посмотрел на эскиз, который хотел порвать ночью. Показалось, будто кто-то подправил его. «Наяву ли это?»—изумился Джапар. Вцепившись руками в холст, он рассматривал его по частям, не веря себе, закрыл глаза.

Фигуры эскиза туманились, таяли, будто пар, на их месте возникали очертания других картин. Воины с жесткими мускулами смотрели на Джапара в упор. Девушка, с обеих щек которой свисало по пять черных тонких кос, полуоткрыла рот с ослепительно белыми зубами и словно собиралась сказать что-то ласковое. Слегка повернув голову, она, казалось, искала кого-то глазами в толпе. Старик со старухой вытягивали руки, рвались обнять самого дорогого и любимого. А вокруг толпились люди, все они кого-то ждали. Мать поднимала на руках ребенка и тот, словно к отцу, протягивал к Джапару маленькие пухлые ручки. С левой стороны эскиза, распахнув объятья, навстречу народу шел молодой человек с мужественным лицом. Джапар видел, что народа становится все больше и больше. Вот он уже перехлестнул рамки полотна. Джапар явственно слышал гул приветствий. И ему показалось—он сам стоит среди этих людей, пришедших встретить героя. Бесчисленная толпа образов возникала в его мозгу, как пчелиный рой. С радостной улыбкой он отпрянул от станка.

— Нашёл!—и схватил уголь.—Наконец-то нашел!

Он быстро стер эскиз и уверенной рукой начал набрасывать только что возникшие ослепительные образы. Вчера еще неясные, фигуры шли теперь перед ним, как бесконечный караван.

Когда Джапар, отирая рукавом лоб, отошел от станка, в мозгу родилась мысль:

«Время летит. Время летит, как крылатый конь. Его нужно взнуздать».

ДНЕСТР ВПАДАЕТ В ГЛУБОКОЕ МОРЕ...

I

Человек шел очень быстро. От встречного ветерка и стремительного движения человека полы его легкого, серого цвета, пальто, надетого нараспашку, широко развевались и казалось, что он, собрав все свои силы, идет, разрезая быстрое течение реки. Голову человек держал высоко, будто стараясь разглядеть что-то далеко впереди себя.

Ему, видимо, стало жарко: он ослабил узел галстука, расстегнул воротник рубашки.

Подобно туристу, идущему вверх по склону горы, человек дышал учащенно. Голова его была не покрыта и взлохмаченные волосы то падали ему на глаза, то снова ложились назад, открывая широкий лоб.

Долго он шел, мерно постукивая концом трости по асфальту. Тонкий галстук развевался над его правым плечом, временами слегка щелкая.

Этот человек умел ценить красивое. Но сегодня он не обращал внимания ни на прозрачную синеву неба, напоминающую безбрежные морские просторы, ни на медлительное движение полной, как золотое блюдо, луны, ни на тихое трепетание листвы. Он не видел, как красивы были белые, с голубоватыми оттенками, полотнища облаков, нависшие над головой.

По ввалившимся, с острым блеском, глазам было видно, что прохожий утомлен думами.

Время от времени он длинными пальцами доставал носовой платок и вытирал со лба холодный пот.

Редкие прохожие, глядя как он шагает по середине улицы, ни на что не обращая внимания, думали:

— Наверно, он потерял что-то ценное...

— Наверно, сынишку ищет...

— Пьяный, наверно, несчастный! В таком состоянии эти пьяницы как раз и попадают под машины...

Шофёры еще издали начинали сигналить, но, подъехав к нему вплотную, вынуждены были тормозить и объезжать, осыпая прохожего руганью.

Но вот раздался оглушительный звон колокола пожарной машины.

Прохожие, услышав его, спешили перебежать улицу, а более робкие выжидали, прижавшись к стенам домов.

Только человек, шедший по самой середине узенькой улицы, даже не подумал посторониться, будто и не слышал звона и грохота пожарных автомашин. Он спокойно шел, словно глухой и невменяемый...

Вот он поравнялся с переулком...

Грохот пожарной колонны стал невыносим. Прохожие в панике бросились в разные стороны, очищая им дорогу.

Машины показались на перекрестке. Они мчались прямо на странного прохожего.

Какой-то усатый мужчина, по виду—рабочий, бросился к нему и схватил за плащ...

Женщина, стоявшая недалеко от них на тротуаре, вскрикнула:

— Ой, мамочка! — и ладонями закрыла лицо.

Ни стона, ни крика...

Трость прохожего завертелась под колесами пожарной машины. Не сбавляя хода, не обращая внимания на сбитых людей, продолжая гудеть, шофёр проскочил дальше. За первой машиной промчалась вторая. Казалось, она должна была окончательно изуродовать обоих.

По счастливой случайности, никто из них—ни прохожий, ни его спаситель—не пострадал. Они лежали в нескольких сантиметрах от колес промчавшихся машин.

Как только пожарники исчезли за углом, оба прохожих, поддерживая друг друга, поднялись на ноги.

— Говорят, пьяных бог бережет! — проговорил мужчина с тротуара.

— Эй вы! Почему нарушаете правила движения?—закричал подоспевший полицейский.

— Этот человек, по-видимому, пьян, я спас ему жизнь,—ответил усатый.

— Большое вам спасибо,— протянул неизвестный руку и, не обращая внимания на полицейского, направился было дальше. Но полицейский, догнав его, положил руку ему на плечо и потребовал документы.

Развернув временный паспорт, он установил, что владельца его зовут Даниил Донской. Эта фамилия почему-то показалась ему знакомой. Сдвинув брови, полицейский старался припомнить, где он встречал этого человека. Он снова внимательно просмотрел документ, потом перевел глаза на владельца паспорта и смерил его взглядом с головы до ног. Человек с раздражением посмотрел на полицейского.

— Даниил Донской!— еле слышно повторил полицейский.

— Да, совершенно верно, господин полицейский,—Даниил Донской! — громко подтвердил прохожий.—Что вам еще угодно?!

Полицейский, переложив паспорт в левую руку, отступил на два шага и, стукнув каблуками, встал как по команде «смирно», а правую руку приложил к козырьку.

Даниил ответил чуть заметным кивком головы... Полицейский, словно смутившись, поклонился и протянул паспорт.

— Господин Донской, может быть, вам нужна моя помощь? Пожалуйста, располагайте мною!

— Нет, господин полицейский, ничего мне от вас не нужно,— ответил прохожий и, резко повернувшись, пошел. Полицейский снова вытянулся в струнку и, стукнув каблуками, взял под козырек. Так он простоял, провожая Даниила взглядом, пока тот не свернул за угол...

Прошло несколько часов...

Восточная окраина города Львова. В небольшом домике два—три голоса о чем-то горячо спорят. Временами доносится сильный кашель.

Читатель! Если тебе интересно знать, кто этот человек, чей мучительный кашель прерывает голоса спорящих, изволь, я скажу: это товарищ Даниила Донского, по фамилии Сокол.

Три года тюрьмы сильно подорвали его здоровье: сердце бьется еле-еле, туберкулез съел легкие... Сокол понимает свое трагическое положение: в ближайшие часы он должен расстаться с жизнью.

И все-таки, даже в свой предсмертный час, он участвует в беседе о родине, которую так любит...

— Когда успешно завершится наше общее дело,— с трудом, хрипя, говорит он,— и вы начнете пожинать его плоды, прошу вспомнить и обо мне...

Красивая женщина, лет двадцати пяти, кладет руку на его лоб.

— Дорогой, ты не ребенок, чтобы говорить такие вещи! Прислушайся к словам врача. Сегодня ты выглядишь совсем не плохо. Ты еще доживешь до нашей победы. Взгляни на своего Спартака.— С этими словами она взяла из колыбели грудного ребенка и поднесла его так, чтоб больной мог видеть сына. Сокол с трудом улыбнулся тонкими, синеватыми губами.

— Хорошо, Оксана, хорошо! Но моя судьба для меня ясна. Я всегда любил правду...— Сокол закрыл глаза и замолчал.

Женщина уложила ребенка, села на кровать и погладила больного по волосам.

Она старалась подавить в себе боль и тревогу, хотела казаться спокойной.

Сидевшие в комнате понимали ее душевное состояние и относились к ней ласково и предупредительно, хотя на душе у каждого было мучительно тяжело...

Несколько минут в комнате было тихо.

Первым заговорил Даниил.

— Мы не можем мириться с таким жалким существованием! Мы живем на положении польской колонии. Закрыть театр, существующий почти тридцать лет, это значит — не считаться с миллионами украинцев, значит уничтожить их культуру! — голос Даниила был глух и словно клокотал от ярости.— Прошло три месяца, как я вернулся из ссылки, но до сих пор не могу вздохнуть свободно. Шпики преследуют меня по стопам... Где украинская интеллигенция? Одни работают в столовых официантами!.. Другие живут грошовыми частными уроками. Врачи служат билетерами в кино, подставляют кресла под панов... Писатели же, посмевшие сказать слово правды

о горькой участи своего народа, попадают в тюрьмы, в ссылку. Нет! Я не могу это больше переносить!

— Берегись, Даниил! Берегись! Снова не попади в капкан! Жизнью надо дорожить, ее надо беречь,— сказал худощавый человек в очках, сидевший у койки больного.

Даниил бегло взглянул на него и усмехнулся.

— Дорожить жизнью? Во имя чего? Что нас ждет? Нет, наш народ этого не хочет, доктор.

Сокол попытался было приподнять голову, но это оказалось ему не под силу. На глазах его показались слезы.

Опечаленная женщина с трудом улыбнулась и ласково обратилась к нему:

— Не утомляй себя, дорогой, лежи спокойно.— Она вытерла платком его посиневшие губы.

Сокол некоторое время лежал тихо, затем с трудом поднял исхудалую руку.

— Днестр впадает в глубокое море,— прошептал он, ни к кому не обращаясь... — Куда пойдет наша Украина[1]?

Даниил посмотрел на Сокола затуманившимися глазами, потом перевел взгляд на доктора.

Тот передернул плечами и заговорил, точно оправдываясь:

— Вы меня не поняли. Вы еще молоды, горячи. В правительстве есть министр, который, конечно, думает и о судьбе украинцев. А если он думает над этой проблемой, то, конечно, последуют и дела. Повторяю, вы молоды и все слишком близко принимаете к сердцу. Мне вас очень жаль. Вам бы не следовало горячиться.

Тряхнув головой, женщина быстро проговорила:

— Пока ваш министр думает, полиция, словно кусок хлеба у нищего, хватает каждого попавшегося на глаза украинского интеллигента. Как это назвать по-вашему?

— Не будем спорить, лучше спрашивайте меня по древней истории или по медицине,— ответил очкастый.

— Спрашивать было бы полезнее вам, может быть, узнали бы кое-что о реальной жизни. А эта ваша болтовня о том, что «министр, возможно, думает», что у «того-то есть то-то и то-то» вам куска хлеба не даст,— сказал Даниил с презрительной улыбкой.

---

[1] Имеется в виду Западная Украина, находившаяся до 1939 года в составе панской Польши.

Доктор молча опустил голову. Женщина, усмехнувшись, отвернулась к больному. Видимо, Сокол уловил слова Даниила. Больной сделал попытку улыбнуться, но мускулы лица ему уже не подчинялись... Он этого не чувствовал. На лице его, вместо улыбки, застыла гримаса недоумения. Казалось, он старается что-то припомнить...

Зазвонил телефон.

Женщина подошла к столу.

— Да, здесь,— ответила она в трубку.— Здравствуйте... Кто? Сейчас... Сейчас...— продолжала она твердить, растерянно глядя на Даниила.

— Наверно, Люба? — спросил Даниил, вскакивая.

— Да, Люба, Люба... Подойдите.— Она протянула дрожащей рукой трубку.

Даниил послушал и изменился в лице.

— Когда? Сколько человек? Ну, ну... Любочка, не бойся! Ну, ну!.. Всех взяли?.. Ну, продолжай, говори! Ну... ну... ну...

В этот момент послышался резкий стук в дверь. Женщина побледнела.

— Пришли... Ну, как быть? — спросила она растерянно и, схватив со стола рукопись Даниила, засунула ее в ботинок мужа, стоявший под кроватью. Доктор, ничего не подозревая, пошел открывать дверь.

Больной, лежавший на спине, не видя, что происходит, шевельнул руками, как бы подзывая жену.

Даниил с тревогой глянул в сторону прихожей и только успел сказать в трубку: «Любочка, ты быстренько...»— как дверь распахнулась и в комнату ворвались жандармы.

Даниил только успел сказать:

— Ладно, Люба, до свидания, до свидания, моя любовь!.. Я ухожу.

В ответ в трубке раздался пронзительный вскрик. Даниил не сомневался, что жена его поняла. Ее крик, словно кинжал, вонзился в его сердце...

Жандармский офицер повел глазами и, узнав Даниила, насмешливо проговорил:

— Господин Донской! Второй раз я имею честь встретиться с вами. Надеюсь, что эта встреча будет последней.

Даниил вскинул голову:

— Доживём и до третьей встречи, господин жандарм. Запомните это... Вам не приходила мысль, что недалек

тот час, когда вы исчезнете, как этот дым? — он выпустил струю табачного дыма.

Жандарм на миг растерялся и, кашлянув, неуверенно пробормотал:

— Доживем, говорите...

Он прошелся по комнате и, спохватившись, достал из портфеля бумагу.

— 1938 года, мая пятого дня... — начал читать офицер.— Именем Польской республики, Даниил Донской с этой минуты берется под стражу.

Доктор стоял, растерянный, не зная, что ему делать. Он то и дело вытаскивал из кармана платок, вытирал обильный пот. Он все более бледнел, чувствуя, что ноги его не держат.

Даниил обострившимся взглядом обвел комнату. Он увидел бледную руку женщины, поглаживающую лоб больного. Затем он перевел взгляд на Сокола, часто и хрипло дышавшего. Потом он увидел перед собой неподвижную, с бледным, словно из мела, лицом, фигуру врача. И, наконец, его глаза остановились на ребенке, лежавшем в коляске и беспечно болтавшем ручонками. Ребенок напомнил ему самые счастливые годы его жизни. Даниил взял на руки мальчика, поцеловал.

— Будущее за тобой, мой дорогой,— сказал он ему и, поцеловав еще раз, уложил в кроватку. Ребенок, будто поняв его, пролепетал:

— Мам... мам... бу... бу...

Сокол лежал без сознания. Даниил обнял его и поцеловал в лоб. Затем протянул руку Оксане, еле сдерживавшей слезы.

Доктор вдруг бросился к ним. Его трясло, как в лихорадке.

— Господа! Что здесь происходит? Для чего все это? — крикнул он и стал обнимать Даниила.

В этот момент Сокол в последний раз открыл глаза. Он пытался что-то сказать, но не мог издать ни звука. Он только изредка и с трудом приподнимал длинные ресницы. Даниил еще раз обнял друга.

— Прощай, звезда свободы!.. Прощай, маленькая несчастная семья! Прощай, мой край родной...— промолвил Даниил, отходя к двери, где стояли жандармы.

Офицер кивнул им.

— Начинайте обыск.

Оксана, сжав кулаки, рванулась к жандарму:

— Дайте покой, палачи! Дайте человеку спокойно умереть!

— Молчать! — крикнул офицер.

Доктор наклонился над больным.

— Тише... Тише...— бормотал он, прощупывая пульс.— Я отвечаю за человеческую жизнь.

Больной глухо простонал, приподнял плечи, тяжело вздохнул и вытянулся. Открытые глаза больше уже не мигали.

Доктор приложил ухо к груди Сокола и тут же, поднявшись, повернулся к офицеру.

— Больной Сокол умер. Он больше не сможет давать вам показания.

II

К тюремным воротам подошла простенько одетая молодая женщина. Опустив передачу на землю, худенькими пальцами она спрятала под косынку прядь светлых волос и вытерла вспотевшее лицо.

Перед нею, у ограды, сидела седенькая, согнутая в дугу старушка. Она то и дело перекладывала продукты из одного узелочка в другой.

Старушка окинула взглядом подошедшую женщину с головы до ног и дружелюбно обратилась к ней:

— Дочка, кто у вас сидит?

Молодая женщина сразу почувствовала расположение к старушке. Она пристально посмотрела на ее худое, с острым подбородком лицо.

— Здравствуйте, мамаша! Вы не мать художника Сергея? Я жена писателя Даниила, Люба. Не помните? Мы с мужем бывали у вас несколько раз, когда ваш сын писал мой портрет... Помните, раз Даниил прочитал свои стихи, и вы воскликнули: «Вот новый Шевченко!..» Вы еще попросили его повторить «Девочку-сиротку»?

Старушка прослезилась и обняла молодую женщину.

— О боже! — всхлипнула и, вытирая слезы кончиком платка, продолжала: — Как же, как же! Помню я вас! Как все изменилось! Больше двух лет, как сын в тюрьме. А сама я... — и тут она снова залилась слезами,—

собираю милостыню... и... и... вот каждый день прихожу сюда, все надеюсь, что увижу сыночка. Но нет! Не показывают. С тех пор, как объявили войну, никаких передач не принимают. Они там голодные...

Люба, успокаивая старушку, ласково гладила ее по седым волосам.

— Крепитесь, мамаша. Прокурор дал мне разрешение на свидание. Я спрошу про вашего сына.

Старушка притянула Любу к себе и, прильнув к уху, шепнула:

— Скажи, доченька, правда, что русские пойдут на Польшу войной?.. Будто всех здешних арестованных расстреливают или отсылают в Варшаву?

— Нет, мамаша, я ничего не слышала... Увижусь с Даниилом, может, он скажет—будут их увозить или нет...

— Все хвалят вашего мужа! Говорят, он храбрый, как лев, никогда не сворачивает с пути... Вы ему передайте: он еще молод, у него вся жизнь впереди. Пусть они вместе с моим сыном как-нибудь убегут... Ведь я — мать. Передай им мои слова... Вы моего сына знаете, он — отчаянная голова. Пусть его хоть убивать начнут, он не пикнет,— с гордостью закончила старушка.

— Любочка, Любочка! Подойди к нам. Спартак давно уже тебя ждет,— позвала молодая женщина из очереди, высоко подняв ребенка.

— Сейчас, Спар! Иду,— крикнула в ответ Люба и помахала рукой.

Старушка внимательно посмотрела на молодую женщину с ребенком.

— Скажите, где я могла видеть эту красавицу? Кто она? — повернулась она к Любе.

— Вы ее, конечно, знаете. Она известная актриса, Оксана. Она и в Варшаву ездила сниматься в кино. Когда закрыли Украинский театр, ее мужа обвинили в принадлежности к коммунистической партии, арестовали и приговорили к восьми годам. Имущество конфисковали, а эту женщину уволили с работы. Ее муж был юристом. Теперь уж его нет. Тюрьмы его доканали, — сказала Люба и, вздохнув, продолжала: — Оксана осталась с грудным ребенком на руках. Ходит она теперь по ресторанам, играет на скрипке, поет... А я, чтобы добыть кусок хлеба, книги переплетаю... Вот уж год, как мы с ней так перебиваем-

ся,— закончила Люба и, подняв сумку, хотела подойти к Оксане.

Вдруг собравшиеся женщины заволновались, похватали свои сумки, узелки и выстроились в длинную змеистую очередь. Из ворот вышел начальник тюрьмы — толстяк с торчащими вверх усами.

— Передачи, а также свидания с арестованными прекращены на неопределенное время,— объявил он строго.

Женщины зашумели.

Начальник повысил голос:

— Вы что, не слыхали?.. Объявлена война. Надо с интересами государства считаться! Разойдитесь!

Но женщины заволновались еще больше:

— А вы с нами считаетесь?

— Они там с голоду умирают.

— По мне хоть сгори все, но передачу должны принять.

— Господин начальник, разрешите последнее свидание.

— Я не уйду отсюда, пока не передам сыну хотя бы кусочек хлеба! Покажите мне сына! — кричала старушка.

Начальник молча повернулся и пошел к воротам тюрьмы. Сгорбленная старушка догнала его и, схватив за рукав щегольского кителя, стала упрашивать:

— Сын мой! Дорогой!.. Мать на все готова ради своих детей! Если ты уважаешь свою мать, выслушай меня!

Начальник тюрьмы, вздрогнув, обернулся. Лицо его исказилось от злобы:

— Ах ты, ведьма, собачья кровь! — выругался он. — Пошла отсюда! — Он оторвал ее от своего рукава и толкнул так, что она отлетела и упала на мостовую.

Люба подбежала и помогла ей встать на ноги. Старушка подняла растрепанную голову:

— Чтобы тебе в жизни добра не видеть, кровопийца! Чтобы сидеть тебе с протянутой рукой! — кляла старушка. По ее лицу текли слезы и кровь.— Отольются тебе наши слезы!

* * *

Даниил вернулся в камеру очень поздно. Он, как обычно, улыбнулся и обратился к сидевшим:

— Ну, как чувствуют себя львы, готовящиеся прыгнуть на луну?

Хотя Даниил и хотел казаться бодрым и веселым, лицо его было бледное, губы сухие, бесцветные, как у мертвого. В глазах таились следы горя и страданий.

Заключенные сидели голые по пояс, они были до того истощены, что напоминали живые мощи. Все обратили взоры в сторону вошедшего. Даниил осторожно прошел по переполненной людьми камере, выбирая свободное место, куда бы можно ступить. С трудом добрался он до своего места.

— У тебя улыбка никогда не сходит с лица, поэтому трудно узнать: радуешься ты или печалишься. Скажи, почему так долго задержали тебя? — спросил его один из заключенных, пожилой, с длинными отвислыми усами.

Все насторожились.

— Дела неплохие! — ответил Даниил вполголоса. — Части Красной Армии два дня тому назад перешли границу... Считай, что украинский народ вырван из кровавых лап... Пусть теперь попробуют подняться Англия и Франция, если они такие храбрые! Пусть только попробуют, если хотят, чтобы им вышибли все зубы!

Многие заключенные закричали «ура». Испуганный надзиратель застучал в дверь.

— Эй вы! Потише!..— крикнул он в волчок.

Даниил продолжал:

— Есть новость, и страшная: по указанию из Варшавы особо опасных людей, если они даже сидят в заключении, будут уничтожать. Военное время — нельзя, чтобы в стране орудовали «внутренние враги»...

— Хотя это только слух, но слух правдоподобный. Польша слаба. Пусть и сверкает она мундирами, но сил у нее маловато. Короче говоря, заиграли лучи рассвета. Но придется ли нам с тобой увидеть этот рассвет? — Даниил похлопал усатого по плечу. Тот погладил, закрутил усы и спросил:

— Хорошо... Еще какие новости?

— Начальник тюрьмы заставил меня заполнить анкету. Там такие вопросы: «Год рождения?», «Какие имеете вещи?», «Сколько имеете земли?», «Каким имуществом владеете?», «Кому их завещаете?», короче, заставил подвести полный жизненный баланс...

— Понятно...— протянул кто-то.

Это сообщение не смутило усатого.

— Думаю, ни черта паны не успеют сделать! — заметил он.

— Все зависит от того, как быстро развернутся военные действия.

— А что вы написали в анкете? — спросил кто-то.

Даниил улыбнулся.

— «Все мое богатство в моей голове. Если буду жив, оно будет достоянием народа, не буду жить,— со мной в землю уйдет»...— вот все, что я мог написать.

В камере загудели:

— Ого!

— Здорово!

Даниил нагнулся к усатому.

— Эта ночь для нас очень опасна! Я удивляюсь, почему вас не вызвали...

— Если дело обстоит так, как вы сказали, то, конечно, должны вызвать и меня. Может, забыли впопыхах.— Усатый достал трубку. Закурить он не успел: загремели ключи и надзиратель, приоткрыв дверь, крикнул:

— Гавриил Павленко! Приготовься!

В камере притихли, с тревогой посматривая в сторону двери.

Запалив туго набитую трубку двумя спичками, Павленко несколько раз глубоко затянулся, выпустил густые клубы сизого дыма, потом вскочил и быстро двинулся к выходу.

Сидевшие проводили его молчаливыми взглядами. Вот захлопнулась тяжелая железная дверь, заскрипел замок...

Решив рассеять мрачное молчание, воцарившееся в камере, Даниил начал:

— Эх, родные мои! Пройдет еще немного времени, и о днях, проведенных здесь, мы будем вспоминать, как о кошмарном сне. Жизнь доброго молодца принадлежит его народу. Не вешайте голов!

— Даниил! Правильно говорите, черт возьми...

— Что такое мученье?

— Это страдание души!

— Что такое сумасшествие?

— Это — зараза в крови!

— А что такое смерть?

— Это значит — погас свет!

— Тут, как ты и сам говоришь, ничего страшного нет. Погаснет пламя внутри нас — и все. А вместо этого возникнет целый пожар...

— Лучше, как вы обещали, после романа «Мать» рассказать «Мои университеты»...

— Подождите, — вмешался паренек, — «Граф Монте-Кристо» еще не закончили. Как же этот несчастный юноша, так и будет продолжать подкоп...

Заключенный, сидевший у самой двери, предложил:

— Эй, стойте! Никому неизвестно, долго ли будет с нами сидеть Даниил или нет. Мы знаем его только по произведениям, а самого видим всего пятнадцать дней. Может быть, он согласится рассказать о себе подробнее...

Гул одобрения пронесся по камере.

— Есть одна хорошая поговорка: «Скоротаем длинную дорогу»,— начал Даниил.— В моей жизни ничего достопримечательного нет. Но все же я должен подчиниться большинству. Не забывайте это правило, которому подчиняются все народы страны Советов,— разъяснил он и продолжал:

— Родился я в 1903 году, в Харькове. Теперь там воздвигнут памятник нашему Тарасу... Отец мой служил на железной дороге...

В этот момент постучали в дверь и надзиратель крикнул в волчок:

— Даниил Донской, приготовься с вещами!

Заключенные глубоко вздохнули.

— Вот помешали! Черт принес их не вовремя,— проворчал парнишка, беспокоившийся о судьбе Монте-Кристо.

III

Даниил взял один из мешочков, расставленных вдоль стены камеры. Это был узенький, грязный мешочек, сделанный из отрезанного рукава рубашки. Он был пуст. Даже крошки хлеба в нем не было. Даниил повертел его.

— Ты, сума нищего, долго ли будешь путешествовать со мной по тюрьмам? — сказал он и, улыбнувшись, засунул мешочек в карман потрепанного пиджака.

— Даниил,— обратился к нему один из заключенных, подавая луковицу: — возьми, пригодится.

Кто-то, достав кепку, отряхнул ее и протянул Даниилу:

— Возьми, может понадобится в дороге. Мы здесь обойдемся.

Даниил прищурил глаза, подумал и ответил:

— Спасибо! Я привык ко всяким невзгодам: закален. Если бы у меня была возможность, я был бы рад вам помочь. А это вы оставьте себе, еще пригодится.

Но тут его начала упрашивать почти вся камера, и он вынужден был взять кепку...

Как Даниил ни бодрился, как ни хотел скрыть от товарищей свое тяжелое внутреннее состояние, его прощальный взгляд ясно говорил, как тяжелы были ему эти последние минуты...

Когда открылась дверь, сидевшие увидели трех вооруженных конвоиров. Один из заключенных не вытерпел и спросил:

— Куда вы, господа, собираетесь его вести среди ночи?

— Молчать! Тихо! — крикнули в ответ.

— Говорить имеем право до самой смерти, господин конвоир!

— Пока голову не отсекли, язык не угомонится,— вставил другой заключенный.

— Правильно! Пока голову не отсекли, язык не угомонится,— подтвердил Даниил, шагнув к двери.

— Доктор Володарский,— раздался голос начальника тюрьмы, стоявшего позади конвоиров,— тебе десять суток карцера! Надзиратель, веди его сейчас же!

— Прощайте, родные! Не падайте духом! — крикнул Даниил товарищам.

— Прощай! Прощай, Даниил, прощай!— зашумели в камере.

Конвоиры погнали Даниила по коридору.

Доктора Володарского—заключенного, который спросил конвоира о судьбе Даниила, в дверях встретил начальник тюрьмы.

— Иди, доктор, поучись еще в карцере!— прокричал он.

— Карцером меня не запугаете.

Начальник схватил доктора за бороду, сильно дернул.

— Эти хохлацкие бороды не нужны польскому государству. Иди!— тянул он заключенного за бороду.

Доктор смело поднял глаза.

— Много кое-чего не нужно польскому государству... Вам только вот это нужно! — сказал он и плюнул в лицо начальника тюрьмы. Порывистым движением головы доктор высвободил бороду и перешагнул через порог.

Дверь камеры захлопнулась.

— Молодец, доктор!.. Он в долгу не останется,— заметил кто-то.

Из коридора послышалась свирепая брань, звуки возни, глухой стон. Затем, все заглушая, зазвенел звонок...

В камере один из заключенных нацарапал ногтем на стене:

«В ночь на 19 сентября 1939 года из камеры увели под конвоем писателя Даниила Донского».

* * *

Сегодня в городе, в особенности в тюрьме, утреннюю зарю встретили с большой тревогой...

Ружейная и пулеметная трескотня, начавшиеся еще вчера, с утра усилились...

Около часа дня раздались первые орудийные выстрелы. Улицы опустели. Там орудовали одни военные....

Перекрестки были заполнены войсками. По улицам носились конные связные, пролетали мотоциклисты.

Проскакала кавалькада офицеров. Вдруг один из них кубарем слетел с седла, но остальные даже не оглянулись. Они соскочили у большого серого здания и, бросив лошадей, вбежали в подъезд. В комнате, у стола с разбросанными картами, стоял генерал.

— Штаб! Штаб!— кричал он в телефонную трубку, но ему, видимо, никто не отвечал.

— Господин генерал! Показались русские танки! — обратился к нему один из офицеров.

Телефонист сунул генералу другую трубку. Швырнув первую в сторону, генерал стал кричать во вторую:

— Штаб! Штаб! Ваше высокопревосходительство... Солдаты гарнизона отказываются стрелять по частям Красной Армии. Так точно!.. Так точно! Да, русские танки. Жду приказа... Так точно, так точно.—повторил генерал и вдруг побледнел. Офицеры с тревогой уставились на него...

Генерал еще раз поднес трубку к уху, послушал и бросил ее:

— Штаб захвачен красными,— сообщил он офицерам.

Мчавшийся, сотрясая землю, танк не знал, что впереди— замаскированный противотанковый ров.

Женщина, бежавшая с ребенком на руках, сдернула косынку с головы и бросилась наперерез машине. Танкист не видел ее. Женщина, подняв ребенка высоко над головой, преградила ему путь. Водитель, наконец, заметил ее и затормозил.

— Ров! Ров! — крикнула женщина и укрылась за танком. Пули забарабанили по броне.

Открылся люк и показалась голова в черном шлеме.

— Чего тебе? — спросил командир тяжело дышавшую женщину.

— Там ров, мины! Дороги нет!

Запекшиеся губы танкиста раздвинулись в улыбке:

— Спасибо!

«Уважаемый редактор!

Своей просьбой написать о последних днях перед освобождением, вы возложили на меня тяжелую задачу. Все, что пережито в те минуты, я не в состоянии изложить на бумаге. Но тем не менее я попытаюсь воскресить в памяти некоторые моменты.

...От стрельбы воздух сотрясался так, что в окнах дребезжали стекла. Мы с женой писателя Даниила Донского стояли в крошечной, закопченной комнате одной прачки.

Всякое движение по городу было прекращено. Мы не могли достать даже куска хлеба. При виде голодного ребенка, сердце мое сжималось до боли.

Наша хозяйка двигалась по комнате, бормоча себе под нос:

— А таким несчастным, вроде нас, лишь бы было спокойно. Кто знает, какая она есть, эта самая Красная Армия! Поживем—увидим...

Она долго еще что-то бурчала, заглядывая в шкафчик, за печку, ощупывая и перекладывая какие-то свертки, мешочки. Наконец, она издала радостный крик.

— Вот хлеб для мальчика!—сказала она, показывая маленький кусочек твердого, как камень, хлеба. Потом зачерпнула в чашку воды и подала мне.

Ребенок потянулся к еде. Я размочила хлеб и стала кормить его. Люба нервно шагала из угла в угол.

— С Даниилом, наверно, уже расправились...

Она подошла к окну, прижалась щекой к косяку.

— Если бы Даниил был жив!.. Нет... Его, конечно, уничтожили!—повторила она.

Где-то невдалеке от нас раздались орудийные выстрелы. К окну подбежала хозяйка.

— Офицеры бегут. Смотри, Оксана! Что же теперь будет? — сказала она с тревогой. Я хотела тоже взглянуть на улицу, но тут дверь с грохотом открылась и в прачечную вбежали три офицера.

— Быстро найдите нам мужское платье! — потребовали они, расстегивая ремни и мундиры.

В поисках мужской одежды они стали рыться в кучах грязного белья.

— Нет, не дам!— закричала вдруг прачка. — Что я тогда скажу хозяевам белья?

За прачку вступилась и Люба:

— Господа, что это за бандитизм? Как не стыдно!

Расшвыряв белье и не найдя ничего подходящего, один из офицеров схватил одежду прачки. Хозяйка стала ее вырывать. На помощь ей пришла Люба. Она схватила офицера за воротник сорочки. Он толкнул ее изо всей силы и заорал: «Сука!»

Я не успела даже пошевельнуться, как раздался выстрел и Люба медленно опустилась на пол.

Что дальше произошло, я помню смутно. Знаю только, что я бросилась к Любе и пыталась зажать рану, из которой фонтаном била кровь. Люба чуть приоткрыла рот, видимо, хотела что-то сказать, но я так ничего и не услышала. Ее правая рука упала на пол, длинные ресницы прикрыли глаза. Сзади раздался еще выстрел, но я только тормошила Любу, пока не поняла, что она мертва. Я оглянулась. На полу лежала раненая прачка.

— Кровопийцы!.. О, господи! — стонала она.

Но вот она вытянулась, несколько раз моргнула и затихла.

Сколько прошло времени, не знаю. Вдруг мне показалось, что кто-то меня будит. Оказывается меня сынишка тормошил. Я быстро пришла в себя.

Чувство страха меня уже покинуло. Я схватила сына и выбежала на улицу. Не знаю, то ли офицеры чего-то не поделили, или в отчаянии один из них покончил с собой, только полураздетый труп валялся у крыльца прачечной.

Когда я добежала до угла квартала, то увидела, что по улице мчится танк. Над его башней развевался красный флажок.

Танк шел на большой скорости, и, по-видимому, не предполагал, что впереди дорогу ему преграждали искусно замаскированный противотанковый ров и мины. Еще несколько секунд — и он погибнет. Я была в отчаянии... Сдернув с головы косынку, я бросилась наперерез, крича:

— Ров! Ров! Мина!

Водитель, наконец, затормозил... Таким образом, я спасла советских людей от неминуемой гибели. Танк же спас навеки весь мой народ... Вот так прошли последние минуты перед освобождением...

С великим уважением, актриса Оксана».

Большая комната. На стенах висят красные полотнища лозунгов, портреты.

За столом, расставив локти, сидит человек.

Навалившись костлявой грудью на стол, он быстро пишет.

Кто знает, возможно, что этот человек сочиняет стихи для своей возлюбленной? Или пишет письмо товарищу, с которым не виделся много лет?

Человек даже не смотрит по сторонам. Порой он тяжело вздыхает, или сидит, наморщив лоб, как бы стараясь что-то вспомнить, и перечитывает написанное...

«... В этой тюрьме две камеры не имели номеров. Все заключенные знали — это были камеры смертников. Кто попадал туда, тот должен был проститься с жизнью. Вот в одну из них и поместили неизвестного заключенного. Привели его не днем, а в самое страшное время суток—глубокой ночью.

До чего в нас сильна надежда! Как мы дорожим жизнью! Заключенный даже и думать не хотел о смерти, полагая, что его отправят на каторжные работы.

До чего наша мысль быстролетна! Вокруг земного шара она облетает в секунду. Мысли этого человека витали где-то далеко, между небом и землей. Порой они окутывались мраком, порой же озарялись яркими лучами. То они опускались в неизмеримую, как океан, глубину, то взлетали ввысь, под небеса...

В ту же камеру в полночь втолкнули еще семерых заключенных. Вскоре их начали вызывать по одному и оглашать им под расписку смертный приговор.

Кто согласится со смертным приговором! Тем более не заслуженным! Но протесты оказались бесполезными...

Один из приговоренных, похожий на скелет, обтянутый кожей, наотрез отказался расписаться в том, что приговор ему объявлен.

— Истязайте!— пожал он плечами.— В конечном счете, хуже смерти ничего не случится. А расписываться я не буду.

Прокурор пришел в ярость:

— Ты хочешь изобразить героического сына украинского народа? Но ты опоздал... Не подпишешь, так мы обойдемся одним актом.

Принесли никелированные наручники и надзиратели стали заковывать обреченных. Потом каждому заткнули рот белой тряпкой.

Страшная черная машина подошла и остановилась у дверей... В четвертом часу утра она помчалась на окраину города. Впереди шла небольшая легковая машина...

До чего дорога нам жизнь! Как она мила! Восемь обреченных едут в свой последний путь с заткнутыми глотками. А как хотелось каждому из них на прощанье хотя бы словечком перекинуться с друзьями. Но увы! У них были скованы не только руки, но и языки. Поэтому, прощаясь, они просто шевелили губами, касались щеками друг друга и целовались...

Страшная машина остановилась у вырытой ямы. Стража по команде вытянулась в шеренгу.

Непроглядная ночь. Кругом тихо и пустынно... Фонари далекого города, сливаясь, кажутся отсюда сплошной линией далекого пожарища.

Восемь немых невольников вывели из машины и построили в ряд на краю ямы.

Начальник приказал вынуть тряпки. К обреченным подошел священник.

— Бог всемилостив, он простит тебе грехи твои,—загнусавил он.— Прочитай молитву.

Крайний смертник наклонился было, чтобы приложиться к кресту, но стоявший рядом худощавый парень крикнул:

— Не смей целовать! Не целуй грязь этих тварей! Слушай, необъятная даль! — продолжал он. —Да здравствует наш родной край! Да здравствует пылающий светоч коммунизма!

Начальник крикнул:

— Готовьсь!

Солдаты защелкали затворами винтовок и замерли в ожидании команды.

Вдруг затрещал пулемет. Но никто из смертников не упал—повалились, поползли стражники. Приговоренные ничего не могли понять, им не верилось, что они остались живы... Но когда их начали обнимать и целовать, им показалось, что они просыпаются от тяжелого сна...

Восемь обреченных были спасены Красной Армией. Одним из них оказался я. Красная Армия освободила не меня одного, она навсегда спасла от гнета мой народ. Честь и слава Красной Армии!

Я и мой народ теперь свободны!..

Свой рассказ я посвящаю верному сыну Украины, моему покойному другу Соколу, сказавшему однажды: «Днестр впадает в глубокое море. Куда пойдет наша Украина?»

Вот так тревожно провел я последние минуты перед рассветом.

С коммунистическим приветом.

Даниил Донской».

1939.

ЗНАЧЕНИЕ КИРГИЗСКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

Агай — почтительное обращение к старшему, дядя.
Азан — призыв муэдзина на молитву.
Айланайын — ласковое обращение, милый.
Аке — дядя.
Аксакал — почтительное обращение к старшему, буквально — белая борода, белобородый.
Албарсты — демоническое существо в образе женщины.
Алма-баш — «Голова с яблоко» (кличка лошади). Киргизы считают, что маленькая голова лошади—верная примета хорошего скакуна.
Апа — мать.
Апаке — мамочка.
Ата — отец.
Атаке — папочка.
Атантай — мифический герой, отличавшийся щедростью.
Баарчин — беркут после шестой линьки, сильная ловчая птица, особенно ценится охотниками.
Бай — богач.
Байбача — сын бая.
Байке — старший брат.
Бали! — возглас одобрения — браво!
Батыр — богатырь, герой.
Бобок — грудной ребенок.
Боорсоки — мелко нарезанные кусочки теста, зажаренные в сале.
Даат — призыв о помощи.
Джабыкбаш — узкая ковровая лента для украшения жилища.
Джене — жена старшего брата или дяди.
Джолбарс — тигр.
Джууркан — одеяло.
Жалын — пламя.
Желжетпес — конь, скачущий быстрее ветра.
Жентек — угощение в честь рождения ребенка.

Жолмогуз — сказочная колдунья (баба-яга).
Зарлык — тот, о ком заботятся.
Заяпкер — специалист по тренировке скаковых лошадей.
Зындан — подземная тюрьма.
Канжар-кулак — «Кинжальные уши» (кличка лошади).
Каракез — черноглазый.
Кедей — бедняк.
Келин — сноха, обращение к молодой женщине.
Кементай — накидка из кошмы для защиты от дождя.
Кербез — горячий, резвый (о скакуне).
Коночок — сосуд из верблюжьей шкуры.
Корер-кез — младшая любимая жена (в феодальном прошлом киргизов).
Кулун — жеребенок.
Кумбез — надгробный памятник, мавзолей.
Кунан — жеребчик-трехлеток.
Курай — кустарник и другая растительность, обычно употребляемые на топливо.
Курбаши — главарь басмаческой банды
Курджун — переметная сума.
Кыдыр — мифический покровитель людей, дух добра.
Мата — кустарная хлопчатобумажная ткань.
Молдо — мулла.
Мучоль — дух.
Навайчи — торговец лепешками, лепешечник.
Насвай — особо приготовленный жевательный табак.
Суйунчу — подарок за сообщение радостной вести.
Табылды — найденный, найденыш.
Танап — мера земли, равная $^1/_6$ гектара.
Тегерич — узкая ковровая лента, служащая для украшения жилища.
Толкан — толокно.
Тон — шуба.
Турпанчи — так называли киргизов, бежавших при подавлении восстания 1916 года в китайский город Турпан.
Хабарчи — человек, передающий вести.
Чагылган — молния.
Чакча — табакерка.
Чаныт — похлебка из толокна.
Чий — степное растение, из стеблей которого плетутся циновки.
Чокои — обувь из сыромятной кожи.
Чолпу — украшение для кос из серебряных монет.
Элечек — головной убор киргизских женщин, напоминающий тюрбан.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Тайна мелодии. Рассказ. *Перевод А. Валитовой.* . . . 5

Даат. Рассказ. *Перевод А. Валитовой* 26

Ответ мудреца. Быль. *Перевод Л. Пасынкова.* 40

Дорожная сказка. Рассказ. *Перевод Н. Чекменева* . . 47

Кого не пугает смерть! Новелла. *Перевод А. Пасынковой-Рыкаловой* 56

Неожиданный подарок. Рассказ. *Перевод Л. Пасынкова* 63

Признание. Рассказ. *Перевод К. Кулиева.* 68

Раненое сердце. Повесть. *Перевод М. Аксакова.* . . . 75

Время летит. Повесть. *Перевод П. Балтина и Е. Орловской.* 134

Днестр впадает в глубокое море. Повесть. *Перевод В. Горячих.* 185

Значение киргизских слов и выражений, встречающихся в тексте. 205

А. Токомбаев

ВРЕМЯ ЛЕТИТ

Редактор *М. Аксаков*
Оформление *Е. Соколов*
Худож. редактор *И. А. Ефимов*
Технич. редактор *А. Бейшенов*
Корректоры *П. С. Лесничая, С. А. Кузнецова*

Сдано в набор 15/XI-1957 г. Подписано к печати 22/I-1958 г. Бумага 84X108$^{1}/_{32}$ 6,5 физич. печ. л., 10,66 условн. печатн. л., 10,81 уч. изд. л. Тираж 24 000 экз. Заказ № 2942. Цена без переплёта 3 р. 25 к. Переплёт 1 р. 50 к.

Фрунзе, типография № 1 Главиздата Мин. культ. Кирг. ССР.